



СОДЕРЖАНИЕ

Страница главного редактора
Остаются имена..... 3

ПРОЗА

Валерий Бродовский
Рассказы13

Иван Аксёнов
Рассказы 57

Олег Солдатов
Ансамбль
Повесть 115

ПОЭЗИЯ

Екатерина Полумискова
Стихотворения 7

Анатолий Маслов
Стихотворения 101

Наталья Окенчиц
Стихотворения 111

Станислав Касперский
Стихотворения201

ПУБЛИЦИСТИКА

Пётр Чекалов
Штрихи к действительности ...183

КРАЕВЕДЕНИЕ

Николай Блохин
В атаку с сестрой 203

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Михаил Сурин
Счастливый жребий
Рассказ 223

Главный редактор
Владимир Бутенко



Литературное
Ставрополье
№2 (2019)



© Правительство
Ставропольского края

ББК 83.3(2=411.2)6я43 + 26.89(2Рос-4Ста)я43
УДК [821.161.1.09 +908](470.630)(082)
Л64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, А. Куприн,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова**

**A72 Литературное Ставрополье. Альманах. —
Ставрополь, 2019 г. — № 2**

Адрес редакции:

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.

Тел.: (8652) 26-31-50.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Дизайн и вёрстка: С.Е.Стефанова

Корректор: В.Б.Иванов

Сдано в набор 08.07.2019. Подписано в печать 22.07.2019.

Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10.0. Уч.-изд. л. 8,26.

Заказ № 318-4. Тираж 979 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Мир»:

394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119 А, литера Я, офис 215.

Тел.: 8-958-649-53-31.

ISBN 978-5-6043340-3-4



Остаются имена...

Довольно часто в последнее время цитируются строки Евтушенко: «Придут иные времена. Взойдут иные имена». Разумеется, года безвозвратно уносят великие события, прежних кумиров. Двадцать первый век переформатировал коммуникативные связи, сдвинул сознание — и отдельного человека, и общества — под влиянием интернета и гаджетов. Куда ни взгляни — девочки и мальчики со смартфонами в руках, с наушниками на голове, с безразличным взглядом к окружающим и всему окружающему. Точно у них душа за семью замками!

Каковы нравственные ориентиры юных россиян, можно судить по их скудному сленгу с обилием англицизмов, телепередачам со скандалами и определением ДНК-теста, творчеству Шнура и Бузовой, рэперов-циников, «креативным» шоу. Под прикрытием развлечений и шутовства (якобы с добрыми



**Страница
главного
редактора**





намерениями) разрушаются основополагающие народные и православные традиции. Так недавно произошло в Железноводске, где накануне дня памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, был проведен «Забег невест». Двадцать шесть красавиц в свадебных платьях, с фатой на голове, поджигаемые возгласами толпы, под дождем рванули по курортному парку к финишу. Что может быть жалче сверкающей пятками «невесты» в мокрым обвисшем платье, приподнятом руками на бегу, с неряшливыми волосами-сосульками и расплывшимся макияжем? Таких барышень, как говорится, прежде женихи за версту объезжали. Однако куда же они мчались?... Оказывается, победительницу удостоили возможности разок полетать на воздушном шаре.

Нет преград кощунству! Белое платье невесты и фата — символы духовной чистоты, непорочности. Устроители додумались до того, что использовали их в качестве спортивных костюмов. Не почитание Дня семьи и верности — фундамента российского общества, — а необдуманность, очевидно, руководила теми, кто принял участие в этом примитивном и непотребном действе. Впрочем, нашлись ведь защитники осквернительниц Храма Христа Спасителя! Я говорю об уровне культуры, разуме и ответственности чиновников.

В моей жизни не единожды встречались люди с большой буквы, для которых честь и достоинство — как воздух. Одной из них была Лариса Ивановна Хохлова, заведующая редакцией художественной



литературы Ставропольского книжного издательства. Женственная, с врожденным чувством такта, высокоэрудированная, она внесла огромный вклад в становление ставропольской литературы. Лариса Ивановна была с авторами приветлива, доброжелательна, интеллигентна. Когда же дело касалось качества произведений, проявляла характер, отстаивая высокие требования художественности. Она поддержала и первой редактировала произведения Андрея Губина, Виктор Колесникова, Владимира Гнеушева. А сколько пришлось ей сражаться с воинственными графоманами, кляузниками!

И еще нельзя не сказать о самоотверженной и скромной женщине, немало сделавшей для нашего альманаха. Мы переписывались по «электронке», вносили по телефону исправления в тексты, но ни разу так и не встретились. Пять лет номера нашего альманаха верстала Анна Павловна Черкашина. Дизайн альманаха, заставки на полях – это дело ее таланта и рук. В прошлом году, когда готовился сборник учащихся «Школы литературного мастерства», я попросил ее сделать верстку книги как можно быстрее. Она откликнулась (хотя по голосу я ощутил, что нездорова) и, как всегда, выполнила работу блестяще. А у нее уже была последняя стадия онкологического заболевания, и оставался всего месяц жизни...

Преклоняюсь пред людьми, живущими любимым делом, отзывчивыми и щедрыми на благо, воспринимающими себя *творцами, делателями*

добра, а не пустыми обывателями. Именно они еще удерживают нашу жизнь от падения в бездну бесстыдства и невежества. Конечно, сменяются поколения. Но имена тех, кто делал мир лучше, праведней и чище — незабвенны. Звездочками мерцают, светятся они вдали — и возвращаются в нашу благодарную память.



«Всё возвратится на крути своя...»
Ходить кругами – доля, знать, такая,
И, основным инстинктам потакая,
Доказывать первичность бытия.

А после, у судьбы на острие,
Назло ветрам из Ветхого Завета,
Бранить того, кто выдумал всё это —
И основной инстинкт, и бытие...

Кто-то видит звезду из колодца,
Кто-то славит столетия ход...
Как в стране престарелым живётся —
Значит, так и Россия живёт.

И порой опускаются руки,
И слезой застилается взор.
Где они, благодарные внуки,
Или это пустой разговор?

Ни конца и ни края не видно
Череде испытаний лихих.
И опять за державу обидно,
Что не держит обетов своих.
Задевая душевные струны,
Ветер листья сметает к ногам,
Да зима серебром своим лунным
Щедро платит по нашим долгам.

* * *

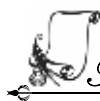
Зачем же делать вид, что всё в порядке,
Что верным курсом вы ведёте нас?
Что лебеда, растущая на грядке,
И есть наш стратегический запас?



**ЕКАТЕРИНА
ПОЛУМИСКОВА**

Поэзия





И снова прикарманив миллионы,
Оставить Русь на произвол судьбы?
А в небе так и кружатся вороны
Над кровлей покосившейся избы.

Айда, берите голыми руками
Всё, что до вас бы не посмели взять,
Что сберегали прадеды веками —
Честь, совесть да земли родимой пядь!

И ни к чему доказывать кому-то,
Что кризис разорил страну дотла,
Что в глухомани безымянный хутор
Жить обречён без света и тепла.

И клясться всем, что, дескать, мы — не боги,
Что сами от беды на волосок,
А на weekend — в альпийские берлоги
Иль на Канары, головой в песок!

Но нам не привыкать, мы всё осилим,
Хоть за века устали от разрух.
Там, за морями, нет другой России,
Чтоб выбирать — которая из двух!

Чужая

Блеск реклам. Сигаретный угар,
В полумраке колышется бар.
Казино. Дискотека.
Я скучаю от пошлых манер
И подвыпивших новых Венер.
Я — из прошлого века.



Я – лишь призрак. «Брожу» по столам,
По разбитым в фойе зеркалам,
Без фальшивого лоска.
Электрической искрой огня
Этот мир прожигает меня.
Я — из белого воска.

Как в музее фигур восковых,
Зашуршит стеариновый стих
В пожелтевшем блокноте.
От внезапного ливня дрожа,
Закричит и заплачет душа —
Я из крови и плоти!

И не выбраться. Не разорвать
тех столетий, что катятся вспять,
до скончания века.
Свет искусственный льётся в окно,
в сигаретном дыму казино.
И гремит дискотека.

Когда в час пик людские реки
на время поглощают нас,
вокруг не различает глаз
кафе, ларьки, «комки», аптеки.
И на асфальте наши тени
сливаются. И нет сомнений,
что мы как белки в колесе,
верней, в потоке, как и все.
Сначала – весело и пёстро,
от чьих-то взоров горячо,
и ощущается так остро
и чей-то локоть, и плечо.



Но вскоре чудится, что люди
в такой немыслимой запруде,
сжимаясь в общее кольцо,
как будто — на одно лицо.
И невдомёк, как ни крути,
что «дважды в реку не войти».
Не раствори в толпе, о, Боже!
Но средь полноточной тишины
лицо луны одно и то же
глядит на нас со стороны
и проливает тот же свет
четыре миллиарда лет.
И отлегло... Сама Селена
нас лицезреть беспеременно
обречена. А мы всё те же —
иуды, бездари, невежи...

* * *

Стихи летят, как бабочки на свет,
не зная о плачевности итога.
Кто виноват, что пониманья нет,
Любовь — наивна, истина — убога?
И вечное препятствие стекла
Между душой и тем, что было светом,
И мотылёк, что кажется поэтом
В ритмическом биении крыла.
И верность вдохновению храня,
потокм рифм поэзия согрета.
И — новая иллюзия огня,
И — бабочка, стремящаяся к свету.



Как трудно быть самим собой!
Но разве быть намного проще
Небесной чашей голубой
Над опустевшей белой рощей?
Всё есть пространства кривизна.
Берёз немая белизна,
И бирюзы звенящей терем.
И лишь тебе дано познать,
Что он во времени затерян,
Или, быть может, растворён
В одном из тысячи времен.
А ты попробуй, разберись,
Где чаши дно, где неба высь?
И след неясный на снегу,
И на берегах — иней колкий,
И на далёком берегу —
Души алмазные осколки.
И ты пытаешься сложить
Из них подобие мозаик,
Поэт, мемуарист, прозаик —
Рисованную жизнь прожить,
Не получается... Художник
Меняет краски и холсты,
И не монах, и не безбожник —
Бежит от праздной суеты.
И снова в бездне голубой —
Немая белизна березы,
И вновь не исполнимы грёзы
О том, как быть самим собой.

* * *

Ах, зачем мне эта ноша?
Надоест — возьму да брошу,



словно камешек с души.
То баллады, то сонеты —
ни за мелкую монету.
Всё равно спасенья нету,
только знай себе, пиши.
Ты, Поэт, за всё в ответе!
Жизнь безбедную на свете
обещают те и эти
в бесконечной суете.
А попробуй разобраться —
кто же прав, скажите, братцы?
Так не эти и не те.
А на кухнях и в маршрутках
век минувший в спорах жутких
вспоминают через «ять».
Всё тогда горело ярко.
Если ж нынче станет жарко,
сможет «каждая кухарка»
государством управлять!
Но зачем ей эта плаха,
эта шапка Мономаха —
не спасающий от краха,
но вдвойне опасный груз?
Мир, авось, не завтра рухнет.
Те же, кто на «властной кухне»,
Далеки, увы, от муз.
Видно, так и дальше будет.
И всегда мечтают люди,
чтобы счастье им на блюде
подносили трижды в день.
При своей оставшись ноше,
я пишу (мой жребий брошен!) —
о грядущем и о прошлом,
и о том, что луг не скошен,
и о том, что под окошком
расцветёт вот-вот сирень.



Дакота...

Полдень. Солнце нещадно палит, заставляя все живое искать укрытия в тени. Вязкий, словно оплавленный, воздух повис в ожидании спасительного ветерка. Одурев от бетонно-асфальтного жара, тучные мухи пикируют из стороны в сторону, пока, наконец, не исчезают под сенью густого, с поскучневшими листьями винограда, оплетшего небольшую беседку во дворе. Здесь по вечерам обычно собираются любители забить козла, но сейчас улица почти безлюдна. Редко кто без особой нужды покидает прохладу квартиры.

Проклинаю служебную необходимость, почтальон, едва передвигая ногами, шаркает по разбитому тротуару истертыми подошвами босоножек. Встретив возле «хрущевки» двух знакомых, останавливается, чтобы выкурить с ними за компанию сигарету и перекинуться парой слов о вчерашней игре сборной по футболу. Адова духота не располагает к долгим разговорам.

Вдруг в каком-то радостном возбуждении из ближайшего



**ВАЛЕРИЙ
БРОДОВСКИЙ**

Проза





подъезда появляется мальчуган лет трех. Он крепко держит за полу халата слепую старушку, в руках у которой небольшая миска. Завидев взрослых, малыш звонким голосом требует уступить им дорогу, выкрикивая что-то непонятное: «Дакота! Дакота!» Мужчины с любопытством оглядываются вокруг, но ничего, что связывало бы этот двор с одноименным штатом в далекой стране, не обнаруживают. Обменявшись недоуменными взглядами, они молча уступают тротуар. Улыбка преображает мягкое от жары лицо почтальона, когда он замечает содержимое миски. Проводив глазами процессию до угла дома, он оборачивается к собеседникам:

— Добрейшей души человечество растет! Рыбок несет...

— Дакота? — засмеялись мужчины, догадавшись.

— Да, для кота, — кивает почтальон.

Улыбка медленно сходит с его лица. Он хорошо помнит бабушку мальчика молодой, с живыми, искрящимися глазами. Когда-то ее дом был наполнен детским смехом и согрет любовью. Но прошли годы, дети разъехались, и теперь ее остывающее от одиночества жилище лишь изредка прогревается теплом родных людей.

— Стариков к жизни привязывают те, кому они еще могут послужить опорой, — вздыхает с грустью почтальон. Поправив на плече лямку от тяжелой сумки, он валкой походкой усталого человека отправляется дальше.



Таисия

Окутанная вечерним полумраком, Таисия Поликарповна сидела на краю больничной койки, размышляя о завтрашней операции. Нет, она не боялась. Знала, что удаление вовремя диагностированной опухоли в груди даст шанс прожить еще несколько лет, что не так уж и плохо в ее почтенном возрасте. Таисия Поликарповна мечтала дожить до дня, когда самая младшая из внучек выйдет замуж.

Залетевший в приоткрытую форточку ветерок наполнил палату пряным запахом степных трав. Утро обещало быть теплым. Таисии Поликарповне немного взгрустнулось. В ближайшее время не придется гулять с супругом по любимому парку, как уже много лет было у них заведено.

Хирургическое вмешательство особого рода способно пошатнуть психику любой женщины, но только не ее. «Жить можно и без груди, — рассуждала медсестра со стажем. — Главное — не стать обузой».

Опустив с плеча бретельку ночной сорочки, Таисия коснулась груди, пораженной болезнью. Через мгновение мысли унеслись в далекое прошлое, когда ее молодость и красота завораживающе действовали на сильный пол...

Только двое мужчин касались ее груди, не считая, конечно, сыновей, которых она выкормила. Единственным мужчиной был любимый муж. Лишь совсем недавно, уступая настойчивости детей и внуков, он с большой неохотой покинул палату, и сейчас, вероятно, больше нее самой переживал за исход предстоящей операции. Но был и другой человек, тот, которого Таисия совсем



не знала...

Шли последние дни войны. Близость ее конца чувствовалась во всем: в том, как яростно сопротивлялись солдаты вермахта; как, несмотря на грохот орудий и трескотню автоматов, в редчайшие минуты затишья по-весеннему разливались трели птиц; как расплывались по грязным, смертельно усталым лицам наших солдат улыбки, а в воздухе висело долгожданное слово «Победа».

Закончив перевязывать бойца, только что поступившего в санбат с новой партией раненых, медсестра Таисия подошла к следующему. Раненый в грудь капитан мужественно сдерживал стоны.

— Потерпи, миленький, будет немного больно! — предупредила девушка, ловко срывая с запекшихся ран окровавленные повязки.

— Не надо... поздно... дохожу... — едва слышно прошептал офицер, касаясь шероховатой ладонью ее руки.

— Да что ты?! Сейчас перевяжу, а тут и доктор освободится! — пыталась ободрить Таисия. — Он тебя быстренько на ноги поставит. Хирург у нас от бога! Знаешь, скольких людей с того света вернул?! Мы еще на твоей свадьбе погуляем... — она по привычке произносила изношенные фразы.

Капитан из последних сил решительно отвел ее руку в сторону:

— Я, сестричка, свою свадьбу уже отгулял. Останется теперь моя Алёнка одна с дочкой... — он зашелся в долгом изнуряющем кашле, выплевывая окровавленную мокроту в таз, полный использованного перевязочного материала. — Не мучай, дай спокойно отойти. Я ведь давно воюю, все понимаю. Кончаюсь...



Уже давно были выплаканы Таисией все слезы, лишь душа всякий раз, когда на ее глазах умирали солдаты, трепыхалась в груди, словно простыня на ветру. Сколько же их, молодых, красивых, не вернется с войны к родным очагам?! Вот и у этого несчастного смерть тенью легла на лицо.

— Сестричка, милая, обнажи грудь! — вдруг тихо попросил капитан. — Пожалуйста!..

Опешив от столь неожиданно прозвучавшего неприличного предложения, Таисия рефлекторно отстранилась от раненого. В сердце неприятно кольнуло: «Вот гад! Жизнь едва теплится, а все туда же».

В иной обстановке она, не раздумывая, дала бы наглецу по морде, но что-то в его голосе послышалось девушке такое, что не вязалось с обычной мужицкой похотливостью.

Всякого насмотрелась Таисия за время войны. Жизнь и здесь брала свое. Видела, как некоторые из боевых подруг становились чьими-то ППЖ — походно-полевыми женами. Но никого никогда не осуждала. Считала, не имеет такого права. Не раз и ей делали недвусмысленные предложения. Многим выздоравливающим солдатам и офицерам хотелось затащить хорошенькую девушку в койку. Воспитанная в строгости, Таисия берегла себя для будущего мужа. Расхожая фраза «война все спишет, если выживем» имела для нее обратное значение. Именно война являлась тем фактором, из-за которого Таисия отказывала себе в личной жизни.

— Три года не видел жену! — продолжал тем временем капитан смущенно. — Забыл, как пахнет женская грудь...

В угол, где стояла койка офицера, свет от тускло мерцавшей под потолком лампочки едва прони-



кал, и Таисии с трудом приходилось делать перевязку. Смутившись, девушка хотела убежать от стыда, но, представив на мгновение, какую сильную физическую боль и отчаяние испытывает умирающий, как можно мягче произнесла:

— Как вам не стыдно, вы же офицер! Лежите спокойно и не мешайте!

Пристыженный капитан покорно подчинился. Смердный запах смерти, пропитавший палату, ударял в нос. Таисия чувствовала, как силы покидают его. Быстро закончив перевязку, она уже собиралась уйти, но вдруг заколебалась. Оглядевшись по сторонам — язык у солдат как помело, разговоров потом не оберешься — Таисия не без труда, испытывая сильную неловкость и смущение, стянула с худых плеч халат, медленно потянула ворот гимнастерки, высвобождая из нательной рубашки грудь. Испугавшись, что раздумает, она обеими руками схватила безвольную мужскую ладонь и опустила ее на теплую плоть. На мгновение их глаза встретились. Стыдливо отвернувшись к стене, капитан выдохнул:

— Спасибо, родная!

Быстро запахнувшись, все еще находясь в сильном смятении, девушка подхватила таз и выбежала из палаты, чувствуя, как пылают щеки. Оказывается, не все еще слезы выплакала ее страдавшая душа. Едва сдерживая готовые вырваться наружу рыдания, Таисия думала о мужчине, который, возможно, в этот самый момент вспоминал свою жену.

Через час, вернувшись в палату осмотреть раненых, она застала капитана в той же позе. Прощальным приветом на его лице застыла грустная улыбка.

Война ежечасно вносила свои коррективы.



Наутро опустевшую койку занял другой офицер, совсем молоденький старший лейтенант, раненный в обе руки. Кто-то из очевидцев рассказывал о его бесстрашии, о том, как геройски он повел солдат в рукопашный бой. Лишь на третьей перевязке, запинаясь от смущения, «бесстрашный» офицер осмелился заговорить с ней.

— Когда закончится война, я вот этими руками приготовлю для вас самое вкусное блюдо на свете, — застенчиво улыбаясь, невнятно пробормотал старлей, — если, конечно, вы не откажете в любезности пообедать со мной, — неуклюже боднув головой подушку, он показал на большую трофейную плитку шоколада. — А пока прошу принять вот это за ваши... — он хотел сказать «необыкновенные глаза», но, решив, что это прозвучит пошло, скомканно выдавил: — За ваши нежные руки!

Бросив на очередного скороспелого ухажера настороженный взгляд, девушка, решительно настроенная отказаться от подарка, вдруг подумала, что еще никто не делал ей таких предложений. Одарив офицера улыбкой, она без особого любопытства поинтересовалась:

— А вы повар?

— Вообще-то, будущий архитектор! Сбежал на войну прямо из института. Но теперь, думаю, поменяю профессию, — придвинувшись к девушке, он заговорщически прошептал: — Знаете, так хочется вкусно и досыта поесть чего-нибудь домашнего! Вот я и подумал: а не составит ли мне компанию такая девушка, как вы, потом, когда закончится война?..

Поваром Вячеслав так и не стал, продолжил учиться на зодчего, но Таисия на мужа за это не была в обиде.

Женщина улыбнулась, вспомнив встревожен-



ное лицо супруга, и начала готовиться ко сну. Ей было необходимо сохранять силы перед новым этапом жизни...

Родственные отношения, или Телефонный разговор сестер

— Ну, здравствуй, сестра! Совсем ты пропала чой-то, даже не звонишь. Я, можно сказать, вынянчила тебя, все детство на руках носила, а ты вон какая неблагодарная, значит? Рази ж так промеж родных деется? Как по мне, так недоучила тебя мамка наша. Ну да, ты же у ней в любимицах ходила как младшенькая. Это меня всё хворостинной воспитывали. Да ладно, чё уж теперь вспоминать?! Легла обида на душу рубцом в три пальца — хай лежит. Простила я ее. И с тобой наладимся, какие наши годы. Всего-то шестой десяток перешагнули... Что говоришь? Тебе еще и пятидесяти нет? Это ты меня сейчас навроде как поддела, что ли? Всё молодайку из себя строишь? Сестру старшую посрамила, старой обозвала... Не называла? Значит, я сама себя в старухи записываю?.. Да ты не оправдывайся!.. Я чего звоню-та? Давно не обчались, а тут Володька мой рыбы наловил, много! Такая жирная, подлюка, прям капает с нее. Он уж и ухи наварил, и нажарил — жри — не хочу, весь дом озловонил мне, упырь. Ну, ты же мово Вовку знаешь, он и в работе силен, и в рыбалке, не то что твой Лёнька-лодырь... Да ладно, чё обижаться-то? Кто ж, как не родная сестра, правду скажет! В общем, решил Володька твоего угостить. Давно, говорит, с родней не сжививали вместе. Ну, стало быть, приходите оба. Хоть и не любя я тебе... Люба, говоришь? Ну, там поглядаем... Да не



серчаю я, велика честь на молодаек обижаться. Ладно, приходи. Языками почешем, слухами потешимся, что да как промеж знакомых делается. Только слышь, тут это... Вовка мой хоть и добрый человечина, да глупый. Ну, сама посуди, на кой ляд нам твой Лёнька сдался? В общем, не хотела говорить, сестра, да как вспомню, сколько твой муженек водки за раз выжрать может, веришь — глаза б мои его не видали. Дык, может, ты одна к нам наведаяешься?.. Кто не пьет? Ну, ты мне будешь за Лёньку заливать? Знаю я ихнюю породу. У них вся семья эту заразу вместо воды потребляла... Чё, мой Вовка не меньше пьет? Ну, не без того. Каждый мужик выпить не дурак. Моему можно, потому как не голытьба какая. На свои гуляет, в долги не влазит, не то что некоторые, не будем показывать пальцами, все равно не узришь, хоть и носишь толстенные очки. Давно хотела спросить: чё ты их носишь? Интеллигентшу из себя корчишь? Володька мой хоть семью по миру не пускает... И твой работает? И много зарабатывать стал? Много! Давно образумился-то непутевый?.. Вон оно как! Ну, раз поумнел — сходи у церкву, свечку поставь... Что там лопочешь? Испортила тебе настроение? А оно у тебя было когдась? Я как ни позвоню, ты вся смурная делаешься... Это я тебе порчу? Не нужно вам наше обчество? Гляди-кось, с родней знаться не хочет! Итить твою! И на уху не проситесь? Лапшу куриную готовишь Лёньке? Та брешешь! У вас отродясь хозяйство дохлючее. Небось в магазине курку-то купила? От такой лапши, не ровен, час заведутся вши... Да ты не обижайся, я не к тому. Про вашу грязь в доме уж умолчу. Тут, как говорится, и без очков узрешь... Что? Это у меня в избе носки вместо валенок стоят? Ах ты... И послал же Бог родню неблагодар-



ную. Всю жизнь маюсь с вами... Кто, я скандальная? Да я сама святость, ежели хочешь знать. Вон, батюшка в церкви как встретит, так прямо и говорит: святая ты женщина, Авдотья Спиридоновна! В пример другим ставит. А я его словам очень даже доверяю. Он у меня в большом авторитете. Я батюшке завсегда гостинчик какой-никакой снесу, чтобы, значит, сподобился за грехи мои самолично Боженьку просить. Да тока какие у меня грехи. Сама знаешь, отродясь никого и пальцем не тронула, а уж словом каким обидеть — ни-ни. Разве когда-никогда Володьку своего сковородкойогрею, так это наши с ним дела, семейные... Что курлычешь? Тебя обижаю? Соседей почему зря извела? Ух и злючая ты, сестрица, ох и злая! Надо было тебя еще в люльке удавить, пока мамка бегала на ферму коров доить. Ты, конечно, звиняй, да только я привыкла правдой рубить по глазам. Душой кривить — что Господа гневить... Как это моя правда никому не нужна? О, гляньте на нее! Закипела, чисто самовар... Стало быть, вечерять к нам не придете? Вон оно и выходит: я к тебе с открытой душой, пообчаться там и все такое, потому как родные мы да живем в одном селе, а ты все обиженку из себя строишь. Ей-бо, перед соседями неудобственно как-то. Все хоронимся друг дружки. Ладно, Господь велел прощать людишек. Сглотну и эту обиду. Может, свидимся еще когда на этом свете, чай, не завтра помирать. Хотя, конечно, ежели водку жрать ведрами, как твой Лёнька... Ну все, все, не пыхти! Иди вари свою «райску» птицу. Смотри, остатки зубов не сотри об ее худые крылки...

Слышь, Володька, уши они твоей не хотят! Зазря только избу, зараза, прокоптил... Ну чё, не ворчи, не ворчи! Обижаю я их всех, как же. Сами кого



хошь в могилу сведут, упыри. Старой меня обозвала... Ноги моей в их дому не будет... Ну ты чё расселся, боров? Давай наливай! Сами посидим, пообщаемся...

Короткий разговор

В советские времена обычно тихие и уютные улицы Батуми летом запруживались многочисленными отдыхающими. Сюда, к морю, люди съезжались из разных уголков огромной страны. Город круглосуточно пребывал в атмосфере курортной романтики. Под сенью экзотической флоры, очаровывавшей гостей, встречались, влюблялись и расставались тысячи пар. Многие из тех, кто посещал аджарское побережье, навсегда сохранили прекрасные воспоминания о том времени, ведь человека в прошлое обычно возвращает оставленная там молодость и свойственная ей бесшабашность. Помнили и местные жители, особенно представители сильного пола. Убеленные сединами, с отяжелевшими животами, но все еще с горящими глазами, они под бутылку-другую «Цоликаури» или «Вазисубани» охотно делились с подрастающим поколением байками о своих любовных похождениях.

Почти каждая такая история начиналась словами: «Ауф, с ума сойти, какая у меня была женщина из...» Географию городов, откуда на грузинское побережье приезжали «пончики» и «сдобные булочки», можно перечислять бесконечно. Естественно, что в своих рассказах бывшие сладострастники представляли исключительно в роли неповторимых героев-любовников. Никто и никогда не решался поведать о своих неудачах и разочарова-



ниях. Конечно, рассказчики охотно соглашались с тем, что такое могло приключиться с некоторыми из их знакомых, но только не с ними...

А между тем, пытаясь захватить в капкан страсти очередную хорошенькую туристку, местные любвеобильные сердцееды часто попадали в неловкое положение. Бывали случаи совсем анекдотичные...

Двое приятелей, только недавно окончившие среднюю школу, проживая в одной из деревень, что широким рукавом раскинулись по изумрудным горам вблизи столицы автономии, решили в одночасье, что пора и самим вкушать плоды взрослой жизни. Впечатленные хвастливыми воспоминаниями отцов и дедов о легких победах над русскими женщинами, душным вечером они объявились в городе.

Неспешно прохаживаясь по батумскому бульвару, столь любимому туристами, молодые аджарцы усердно поглядывали по сторонам в надежде познакомиться и провести вечер в обществе приезжих чаровниц. Белокурых, рыжих, черноволосых кокеток встречалось по пути так много, что их глаза разбегались, грозя расходящимся косоглазием. От охватившего молодые сердца волнения кровь бежала к голове тугими пьянящими струйками, что вызывало у них легкое головокружение.

Здесь, на бульваре, царил праздничный дух. Отовсюду доносилась громкая музыка, перекрываемая бойкой русской речью и звонкими девичьими смешками. Юные прелестницы, многие из которых впервые оторвались от семьи, небольшими стайками кружили по тенистым дорожкам бульвара, с удовольствием позируя перед объективами камер местных фотохудожников, чему



последние были несказанно рады. Еще бы, летний сезон год кормит. Облаченные в короткие платья или шорты, девушки причудливо изгибались на фоне лазурной волны, ловили в ладоши убегающее за горизонт солнце или нежно обнимали рифленные стволы пальм. Вытягивая лебединые шейки, они жеманно кривили пухлые губки и загадочно хлопали ресницами, чем приводили в восторг местных эфебов, соколами круживших неподалеку.

Чуть поодаль, подставляя бризу грудь с густой растительностью в расстегнутых до пупка рубашках, степенно прохаживались мужчины постарше, высокомерно поглядывая на желторотую поросль. Малолетки их не интересовали. Опытные ловеласы, они искали встреч с женщинами постарше.

Прогуливались здесь и семейные пары с детьми. В отличие от шумной и вездесущей молодежи, эти наслаждались заслуженным отдыхом неторопливо, смакуя каждую минуту.

Заметно выделялись среди общей массы женщины одинокие, молодые и не очень. Те, кто приезжал сюда просто отдохнуть, в глаза не бросались. Иные, открыто демонстрируя женские прелести в ультракоротких платьях с вызывающим декольте, времени даром не теряли. С дня приезда они начинали обходить злачные уголки города. Дамы, пребывающие в поиске, знали, в каких местах следует искать ферлакуров, коих в курортных городках всегда хватало.

К вечеру количество ходоков заметно прибавлялось. К городским дамским угодникам присоединялись мужички из окрестных деревень и поселков. Пополнялся и парк «Жигулей» и «Волг». «Москвичи» и «Запорожцы» не котиrowались. Катать подруг на таких тачках считалось



делом стрёмным.

В жизни наших героев это была первая самостоятельная вылазка. Они накручивали километры, нисколько не смущаясь отсутствием опыта общения с представительницами прекрасного пола, впрочем, как и не беспокоясь за плохое знание русского языка. «Любовь не нуждается в долгих разговорах», — объяснял товарищу Дурсун, считавший себя главным в их связке, поскольку знал русских слов несколько больше. Он искренне надеялся, что кавказская страсть легко перекроет все трудности общения.

Одинокую девушку с раскрытой книжкой в руках, затерявшуюся в тени магнолий на скамейке крохотного скверика, они заметили не сразу.

— Ауф, какая кукла, ва! — восхитился Дурсун, тут же заявив свои права на нее. — Моя будет! Сейчас спросим, есть ли у нее подруга. Если нет — потом и тебе найдем кого-нибудь...

Скрывая волнение — уж очень не хотелось быть отвергнутым при свидетеле — Дурсун, не долго думая, подсел к девушке. Используя весь небогатый арсенал обольщения, от глуповатой улыбки на все лицо до широко раскрытых восторженных глаз, он скороговоркой произнес:

— Ауф, какой красиви дэвочка! Какой адинокый чилавэк!

Застигнутая врасплох, юная особа бросила на незнакомцев испуганный взгляд. Скромно прикрывшись на краешек лавочки, товарищ Дурсуна, едва сдерживая волнение, украдкой поглядывал на девичьи коленки. Легким кашлем он пытался заглушить звуки гулко бьющегося сердца. Делая вид, что заинтересовался книгой, Дурсун продолжал, с трудом подбирая нужные слова:



— Что ми читаэт, дэвочка?

Решив, что ей ничего не угрожает, девушка, зардевшись, тихо промолвила:

— Ги де Мопассана!

На мгновение замерев, Дурсун вдруг завертел головой по сторонам, словно кого-то разыскивал.

— Кажется, она занята! — растерянно бросил он через плечо приятелю на родном языке и, разведя руками, огорченно обронил по-русски: — Слуши, аткуда иа знаиу, гидэ твой пацан?

Догадавшись, что ее не поняли, девушка еще больше смутилась. Одарив улыбкой второго паренька, она, в надежде что тот знает язык куда лучше, пояснила:

— Это роман! «Моя жизнь».

Еще сильнее нахмурившись, Дурсун подхватился со скамьи и немедленно зашагал прочь, выстрелив приятелю:

— Роман, она тебя хочет! Говорит: ты — ее жизнь.

Не понимая, что произошло, Роман бросился следом, с виноватой улыбкой оглядываясь на девушку. Бросать такую красотку ему не хотелось.

Недоуменно пожав плечами, юница вернулась к роману известного француза, знавшего все о тайнах женской души...

Спасатель Гиви

Сдав первый из выпускных экзаменов, Вовка с Аркашкой в приподнятом настроении возвращались домой. Над побережьем, как обычно в это время года, стояла невыносимая жара. Хотелось скорее куда-нибудь спрятаться от палящих лучей светила. Их путь пролегал мимо железнодорож-



ной станции, и приятели, в надежде хоть на время укрыться в спасительной тени, заскочили в при вокзальный буфет за мороженым. Но и в помещении было не лучше. От уличного зноя не спасали даже толстые стены старого здания.

Обливаясь потом, широкоплечая, большегрудая буфетчица лениво потянула из морозильной камеры два брикетика «Сливочного», небрежно бросила их на грязную деревянную столешницу. Отсчитав сдачу с рубля, она вновь подставила потное лицо под струю воздуха, разгоняемого ссутилившимся от долгой службы вентилятором.

Курортный сезон был в самом разгаре. На смену одним отдыхающим прибывали другие. Выскочив на перрон, манивший громкими голосами отъезжающих, ребята с наслаждением принялись за холодный десерт.

Перестук тяжелых колес приближающегося со стороны города состава «Батуми — Москва» внес некоторую сумятицу среди ожидающих. Только на минуту замирал здесь поезд, и люди пытались угадать, где остановится их вагон. Особо нетерпеливые бегали по перрону взад-вперед с многочисленной кладью, окликая друг друга гортанными криками.

Размазывая по лицу тушь, на платформу, едва не сбив ребят с ног, выскочила зареванная рыжеволосая девушка. Рядом с ней, сторбившись под тяжестью огромной сумки, ковылял на кривых ногах молодой человек. Лишь когда он опустил ношу наземь, Вовка с Аркашей узнали в нем своего знакомого Гиви. Движимые мальчишеским любопытством, они решили понаблюдать за ним.

— О, очередная любовная драма? — съязвил Вовка, кивнув подбородком в сторону обнявшейся парочки. — Похоже, отпуск у рыжей закончился, а



вместе с ним и амур-тужур. — Несколько раз лизнув мороженое и не удовлетворившись этим, он жадно откусил большой кусок и тут же скривился от зубной боли. — Аркашка, вот скажи: этим девкам че, своих парней дома не хватает? Че они наших мужиков хомутают? — спросил он, держась за щеку.

— Ну, это еще кто кого хомутает, — цокнул языком Аркадий, отгрызая от вафельной подложки небольшие кусочки. — Наши «индейцы» сами те еще прилипали! И потом, дома нельзя. Дома мамка с папкой заругают. А тут чё, тут курорт. Свобода. Делай чё хошь, — хохотнул подросток, без всякого смущения почти в упор разглядывая влюбленную парочку...

Худощавый, с копной вьющихся смоляных волос на голове, сусами-подковами под крючкова-тым носом, Гиви пользовался успехом у определенной части туристок. Вернувшись несколько лет назад из армии, он, недолго думая, устроился работать спасателем на местный пляж. Плавать Гиви толком не умел и, если в море случался форс-мажор, отправлял к утопающим более расторопного помощника, сам же напускал на себя важность, призывая зевак, как обычно в таких случаях гуртующихся подле, не мешать «пропэссионалам». Зато он легко и умело клеил прелестниц.

В осенне-зимнее время, когда на море наступал мертвый сезон, Гиви помогал отцу ухаживать за домашним цитрусовым садом, за что получал достаточно денег на карманные расходы. Гордостью молодого человека были и собственные «колеса» — «Жигули» пятой модели. Безусловно, это вызывало зависть у всех, кто не имел машины, ведь с личным автотранспортом в глазах женщины ты настоящий важкаци — славный мужчина,



герой. Можешь умчать ее хоть на край света. Правда, так далеко женщины обычно не просились. Им хватало мест поблизости, например, в каком-нибудь приличном ресторане, где всегда вкусно, шумно и весело.

Гиви умел ухаживать за дамами. Бывало, некоторые из них так быстро привязывались к парню, что еще задолго до отъезда начинали страдать от предстоящей разлуки. Истеричек он не терпел, справедливо полагая, что курортный сезон долгий, а собственные нервы необходимо беречь. С теми, кто вдруг после одного-двух свиданий начинал настойчиво требовать знакомства с будущей свекровью, «спасатель курортных одиночек», как он себя называл, отношения рвал быстро. Делал он это деликатно, как и подобает благородному грузину. Дабы не остаться в глазах женщины недостойным, или, проще говоря, «козлом», прибегал к проверенному способу — у него неожиданно случалось «балшой горе» в семье. Скажем, очередные «похороны» любимой тетушки или бабушки. За время своих походов Гиви уже и сам не помнил, скольких несчастных родственников «схоронил». Передав на время миссию спасения утопающих кому-нибудь из коллег — кто же откажется помочь другу в таком благородном деле, ежели хоть раз за сезон и сам вполне может оказаться в таком положении, скрываясь от чересчур назойливой подружки, — Гиви исчезал с пляжа. Отсидевшись на радость близких несколько дней дома и убедившись, что присуха благополучно отбыла на родину, он возвращался к спасательной вышке, с биноклем в руках высматривая себе очередную «пигуристуиу лиубов».

Постепенно Гиви научился разбираться в



женщинах. Старался выбирать тех, кто не покушался на его свободу, не устраивал разборок в самых неподходящих местах. С этими обычно оставался до конца их короткого отпуска.

Женщин он любил особых, чтобы были «сказочнияз, как пэи». «Феи» у Гиви были, как правило, полнотелые, с большими выпуклостями. Завидев очередную такую рядом с ним, друзья-эстеты кривились. Гиви огрызался, уверяя, что женщина должна быть мягкая, как подушка. Рыжеволосая исключением не была.

Заметив показавшуюся из-за горы голову поезда, рыжая бросилась Гиви на плечи, едва не опрокинув его...

— Сцена последняя, драматичная! — изрек цинично Вовка, глядя, как заходили ходуном плечи рыдающей девушки. — Представляю, сколько лапши навешал «индеец» ей на уши...

— Макароны! — поддакнул Аркашка. — Макароны местной фабрики. Слипнутся в пустой хинкал — фиг оторвешь! «Гуроны» умеют сочинять песни о вечной любви.

Уже никто и не помнил, кто первым назвал местных донжуанов индейцами-гуронами, но прозвище это надолго закрепилось за ними.

Выросшие здесь, ребята знали, чем обычно заканчивались курортные романы. Практически все возникавшие отношения прекращались с отъездом отдыхающих на родину. Многие женщины потом всю жизнь рассказывали подружкам, как сильно их любили гиви, амираны, нодари, шоты и пр. Вот только не сложилось, что-то помешало, встало на их пути... Э-хе-хе! Гиви с вахтангами как раз знают, что, или точнее, кто встал — новые «пэи» и «каралеви».



Те же, кому удавалось поймать местного «дрозда» за хвост и выйти за него замуж, о романтике забывали сразу же после свадебных торжеств. Как водится, новая семья с ее особым укладом, зачастую сварливая свекровь с перекошенным от постоянного недовольства ртом, недружелюбные, осуждающие взгляды местных девушек, у которых «гастролерши» отбивают потенциальных женихов... Не до романтических отношений! А дети пойдут — совсем не до развлечений будет. Дай бог хоть издали на море взглянуть. Многие из «северных невест» очень скоро сбежали обратно в родные края. Серых будней им вполне хватало и у себя.

Вовка с Аркашкой продолжали наблюдать за молодыми. Кроме простого любопытства было в этом еще и мальчишеское желание приобщиться к взрослой жизни, поучиться нюансам отношений с противоположным полом. Правда, признаться друг другу они в этом по понятным причинам не могли, прикрываясь подростковым цинизмом.

— ...Обещай, что приедешь, обещай! — сквозь всхлипывания донесся до них голос девушки. В какой-то момент он резко взвился вверх, издав протяжное «а-а-у», но тут же, дав петуха, сорвался на хрип: — Я познакомлю тебя с мамой... Вот увидишь, она тебе понравится... Скажи, что у тебя никого, кроме меня, нет...

Наконец заметив знакомых, Гиви, продолжая держать зазнобу в объятиях, закатил глаза под свисающий курчавый чуб, всем своим видом показывая, как он устал от такого обожания.

— Что ты, Свэта, дарагой? Клинус, ты у меня адна-эдынствени! Ни плакай, ва! Лиуди вакруг, ниудобна как-та... Иа абизатэлна к тэбиа приэду, толка ни знаиу, кагда... Бабушка у мэния в тиажолі састаиання. Сегодниа саабцили... — пошла в



ход спасительная заготовка. — Паэду паживу с нэй. Сколка ишо бэдни старушка асталса жит?! Патом приэду... Клинус, ты — сами лучши падарка в мой жизни!..

Лапша пролезла в ушные проходы, вытеснила мозг, напрочь отключив от реальности рассудок несчастной влюбленной. Уткнувшись носом в его волосатую грудь, рыжая извлекла из груди душе-раздирающее:

— А-о-у-о-и! Ты — хороший! Ты бабушку любишь. Я знаю, ты меня не обманешь, не бросишь. Не бросишь, правда? Хочешь, я приеду к тебе зимой? Возьму отпуск и приеду...

— Ниет, слуши, иа далеко в гарах жит буду у бабушка!

Страх охватил Гиви. А ну как эта полоумная и в самом деле надумает приехать да начнет разыскивать его по всему поселку?!

Увидев его округлившиеся от испуга глаза, Вовка, не стирая с лица иронии, просунул руку под сорочку, имитируя учащенное сердцебиение, которое, должно быть, в этот момент случилось у Гиви. Орлиный профиль последнего приобрел злое выражение. Пригрозив незаметно кулаком, он вдруг обнажил в ухмылке ровный ряд белоснежных зубов и, приподняв за подбородок лицо своей воздыхательницы, с жаром впился ей в губы, нисколько не стесняясь окружающих. Так, очевидно, опытный гулена хотел подчеркнуть этим прыщавым юнцам их незрелый возраст.

Конечно, простить такое приятели не могли. Стараясь не привлекать внимание окружающих, Вовка, шутник и балагур, тихим, но строгим голосом школьного завуча изрек:

— Как это непедагогично! Как не стыдно совер-



шать такое безответственное действо на глазах детей?..

— Да, я бы сказал, весьма дурной, просто аморальный поступок! — вынырнул с другой стороны Аркашка. — Полный распад личности! К тому же налицо несоблюдение правил гигиены. Нам даже лекцию читали в школе о передаче различных инфекций поло... э-э-э... через поцелуи...

Отлипнув от уст подруги, Гиви в очередной раз показал им кулак, знаками требуя убраться пододру-поздорову.

— Тетенька, а меня научите целоваться? — вдруг с ангельской кротостью в голосе спросил Вовка, готовый немедленно ретироваться.

Густо покраснев, «тетенька», которой на вид было не больше двадцати—двадцати двух лет, молча потянула возлюбленного в сторону. Зыркнув глазами, Гиви провел большим пальцем у горла, красноречиво показывая, как будет резать им глотки...

Почти бесшумно подкативший поезд вызвал посадочную суматоху. Гиви долго не мог отцепиться от сильных рук своей пассии, намертво обхватившей его шею. Наконец, разгоня ладошками туман в глазах, девушка вскарабкалась в тамбур.

— Ты — мой самый любимый мужчина! — крикнула она, едва поезд стал набирать ход. — Самый...

По-прежнему сохраняя улыбку, Гиви устало буркнул себе под нос:

— Давай, эхай дамой...

Чем-то озадачившись, он некоторое время стоял молча, затем, не дожидаясь, когда последний вагон скроется из виду, быстрым шагом направился в буфет, откуда выскочил с бутылкой пива. Завидев все еще толкущихся на перроне



Вовку с Аркашкой, он решительно направился в их сторону.

Полагая, что сейчас огребут по полной за свое вызывающее поведение, те на всякий случай придвинулись к краю платформы, откуда было легче сгять.

— Интэрэсна, сколка мужчин у нэй бил, эсли иа — сами лиубимий, а? — проворчал Гиви. — Что-то мения эти слава савсэм ни панравилсиа. Нада к врачу сходит, миси дэда...

— Гиви, а чего это ты не захотел с ней зимой встретиться? — поинтересовался Вовка, все еще держась на безопасном расстоянии. — Зимой что, отдыхаешь?

— Э, кацо, знаэш, какиэ женщины дарагиз? — хохотнул грузин. — Хороши, гариачи, но сколка дэнэг стоиат, знаэш? А как ресторан лиубиат, знаэш?

Донесшийся до них перестук колес приближающегося поезда, на этот раз встречного, «Москва — Батуми», извещал всех о прибытии новой партии отдыхающих.

— Авдрус приедет!

— Нэт. Иа на всиаки случай сказал эй, что паэду жит ва Пранциу.

— После того как «похоронишь» бабушку?

Залившись смехом, Гиви в три глотка опустошил бутылку «Жигулевского» и громко отрыгнул воздухом.

— Э, бэдни мой бабушка!

— А почему во Францию? — допытывался Аркаша.

— А куда, в Балгариу, что ли? — искренне удивился Гиви. — Пранциа — красива звучит, разве ниет? Пранцуженки хороши, в кино видал с Бэлмондо и Дэлэном. Красавчики!



— Действительно, что это ты глупые вопросы задаешь? — подмигнул приятелю Вовка. — Болгария — совсем не звучит. Другое дело — Франция!

— Устал иа ат этих туристов! — выдохнул вдруг Гиви. — Паиду дамой атдыхат...

Из прибывшего поезда высыпали пассажиры. Заметив двух молодых полноватых женщин, заметно отставших от толпы, Гиви подтянулся, тут же позабыв об усталости.

— Сматри, какиэ пончики, ва! — воскликнул он. — Интэрэсна, гдэ их мущины? Навернаэ водка бухат асталис на Россия, а, как думаэтэ? Сматри, какиэ пэи!..

Все же странное представление было у него о феях.

— ...Вах, сколка здаровиа нада! — как-то обреченно произнес он, не отрывая от женщин восхищенного взгляда. — Сколка здаровиа, — повторил. — Сколка дэнги нада на такой «пончики». Рэбиата, ви лиубитэ «пончики»? Или эщэ манни каши кушаэтэ? — повернулся он к ним.

Уловив в его словах иронию, Вовка стал подыскивать достойный ответ, но Гиви, бросив коротко «нахвамдис!» (до свидания), затрусил навстречу очередной «эдинственни лиубови».

Аркашка хотел предупредить его, чтобы стер с лица остатки красной помады, но Вовка остановил приятеля:

— Пусть валит! Это ему за манную кашу...

Любовь — состояние живительное

Знакомый мой, назовем его Анатолием, был изгнан из семьи супругой за «алкоголизм, тунеядство и исякшую к ней любовь». Из совместно



нажитого имущества достался ему небольшой баул с носильными вещами да старенький, пылившийся в гараже автомобиль. На вырученную от его продажи сумму Анатолий снял небольшую «однушку», закупил спиртное, немного закуски и на две недели погрузился в запой. Вернувшись из него с сильной головной болью, не проходящей даже после хорошего опохмела пивом и огуречным рассолом, Анатолий, находя свое дальнейшее существование жалким и бессмысленным, решил в одночасье расстаться с оказавшимся столь неудобным для него миром.

Выудив из глубин памяти все, что когда-либо слышал о загробном мире и тернистом пути к небесному Судье, дорога к которому, по рассказам редких «очевидцев», недолго побывавших на том свете и волею судьбы возвернувшихся обратно, пролежала через кладбищенский холод и каменистые неровности мрачного туннеля, он натянул на голову вязаную шапчонку, влез в старую дубленку и, трижды перекрестившись, засунул еще не протрезвевшую голову в духовку, включив газ. Встречи с неизвестным Анатолий ожидал со смирением.

Время мерно отстукивало секунды на кварцевых часах, стоявших на столе, газ прилежно шипел, но ничего не происходило, только во рту стало гадко. В какой-то момент Анатолий решил смочить горло остатками водки, а заодно докурить последний «бычок»...

Полет, сопровождавшийся яркой вспышкой, оказался недолог, аккуратно до противоположной стены, болезненную встречу с которой смягчил овечий полушубок...

Лежит теперь Анатолий в ожоговом центре со слегка поджаренной головой — спас лыжный



«петушок», остатки которого врачи заменили на вполне симпатичную «шапочку Гиппократ», и впервые за последние годы, кажется, по-настоящему счастлив. Хозяйка его съемной квартиры, ни разу в жизни не испытывавшая семейного счастья, узнав о случившемся с ее интеллигентным и обходительным квартирантом, взялась опекать несчастного. Ходит каждый день в больницу, смазывает зловонной мазью его обгорелые брови-ресницы, кормит с ложечки сытным бульоном и рассказывает, как ей повезло встретить такого тонкого и ранимого мужчину и что теперь они заживут вдвоем счастливо, потому как любовь — состояние живительное...

«Болдинские» истории деда Тихони

В станице деда Тихоню знал каждый. Кто и когда его так нарек, уже давно забылось. Несмотря на прозвище, звучащее умиротворяюще, тихим назвать Тихона Дмитриевича было сложно, поскольку любил старик побуяннить похлеще иного подростка. Мог при случае и костылем запустить. Со своей клюкой, тяжелой сучковатой палкой из «благородного шамшита», выструганной собственноручно из местного ясеня, он не расставался.

Трезвым потомок казаков почти не бывал, разве что ранним утром. От его проспиртованного тела исходил характерный запах, вызывавший у людей опасение. Казалось, стоит только поднести к нему зажженную спичку — и оно вспыхнет. По собственному утверждению деда Тихони, к спиртному он имел закалку сызмальства.

Выйдя на пенсию после многолетней службы в



местном лесничестве, старик решил больше не обременять себя никакими заботами, всецело переложив домашнее хозяйство на супружницу — дородную казачку Аглаю Ивановну, а сам, сказавшись противником всякого трудового насилия над человеческим организмом, заявил, что отныне будет жить в свое удовольствие, то есть в праздной лени. Единственное, чего дед Тихоня не мог доверить никому, — это варить самогон. «Туточки ошобливый нюх нужен, иначе дело швах!» — утверждал он.

Именно по этой причине любимым временем года старик признавал конец лета и раннюю осень, когда в садах созревали фрукты. Из чего только не гнал он свой «бальзам долголетия», благо, нынешняя власть, в отличие от советской, запрещавшей самогонование, внимания на это дело не обращала. Похоже, ей было все равно, отчего травился народ, от суррогата ли неизвестного происхождения, завозимого в сомнительные магазины, или собственного самопала. Хотя какой чудака будет гнать отраву для себя?! У деда Тихони все в хозяйстве было натуральное, особенно напитки.

С утра, плотно поев и приняв полстакана сливовой настойки «для шугреву коштей и шедалищных мышц», он, по заведенной в последнее время привычке, отправлялся к центру станицы. Здесь, на главной площади, где располагалось неказистое здание автостанции, а вокруг теснились небольшие лавчонки и продуктовые магазинчики, и была настоящая жизнь. Тут же неподалеку находились и почта с поликлиникой, а чуть дальше, в старинном особняке купца Варфоломеева, расстрелянного после революции чекистами, восседал со своим крохотным аппаратом местный



глава администрации. Для полного «боекомплекта» в этом месте деду Тихоне не хватало разве что... кладбища. Последнее его особенно заботило. Уж очень не хотелось старику после смерти отдаляться от центра, потому как погост по старым традициям располагался далеко за околицей.

Пристанционную площадь местные обыватели не без основания считали ядром вселенной, местом притяжения станичного люда. Сюда даже собаки с кошками сбегались на свои хороводы. Вот где можно было всласть наговориться, обсудить последние новости, узнать, кто помер, у кого на свет народился продолжатель рода.

К обеду, притомившись от разговоров, дед Тихоня возвращался домой. Приняв обязательные сто «наркомовских» граммов, теперь уже «для шугреву унутренноштей» и «ушпокоения шердешной мышцы», он заваливался на любимый диван, чтобы под звуки старенького транзистора подремать часок-другой.

Немного позже старик выходил во двор, привычно проводил подслеповатым взглядом ревизию, делал супруге замечание, чтобы лучше прибиралась да вовремя давала птице «йысты и питы», и, достав из сарая инструмент, увлекался мелкой работой. Мог табурет починить или, к примеру, штакетник подправить. При этом не забывал поглядывать в сторону улицы, наполнявшейся к вечеру народом. Завидев кого-то из знакомых, непременно цеплял разговором. Уж очень охоч был до всевозможных бесед. По этой его привычке многие станичники старались обходить их двор стороной или перемещались тихо, крадучись.

Немым свидетелем «шурьёзных хфилошофий» являлся старый, прохудившийся заборчик, на



который дед Тихоня любил опереться во время беседы. Рассказчиком он был неплохим. Дар имел повествовать о смешном так, что у слушателей порой скулы сводило от боли. Сам при этом обычно оставался с серьезным выражением лица. Истории его, не единожды озвученные, всякий раз обрастали новыми подробностями. Часто героем в них выступал он сам.

Бывало, что кто-то из втравленных им в беседу осмеливался выказать недоверие к услышанному. Такое неуважение к собственной персоне страшно гневало старика, по его худым скулам начинали бегать крупные желваки, а глаза превращались в щёлки. Если скептик терял бдительность и продолжал со смехом развенчивать услышанную историю, дед, недолго думая, хватался за клюку и, размахивая ею словно шашкой, шел на обидчика в атаку. Зная его несдержанный характер, станичники обычно до такого не доводили, разве что кто-то из молодежи мог шутки ради раззадорить.

Случалось деду Тихоне в присутствии своих слушателей «атаковать» и супругу, страшно не любившую его «брехню на постном масле», о чем она, не стесняясь в выражениях, и объявляла во всеуслышание. Столь дерзкое поведение родного человека вдвойне оскорбляло старика. Скрипя остатками зубов, он вначале высказывался в ее адрес весьма непеэтическим многорядьем слов, но, получив в ответ не менее хлесткой прозой, хватал наперевес свой любимый костыль из «шамшита» и угрожающе надвигался.

Не уступавшая в упрямстве Аглая Ивановна с усмешкой бросала ему: «Неужто вдарить удумал, казачок? Ну, покажь прыть!».

Сразу после этого дед Тихоня остывал. Злые языки поговаривали, что несколько раз в жизни



он таки «вдаривал», после чего переходил на время жить в летнюю кухню, где залечивал ушибы. В это охотно верилось, глядя на крупную фигуру Аглаи Ивановны, у которой одна рука весила больше, чем обе ноги ее щупленького мужа.

Но с селянами все же бывали прецеденты. Умел дед Тишка не хуже иного папуаса метнуть свою крючковатую деревяшку в обидчика, а потом дать стрекача похлеще испуганного зайца.

Несмотря на буйный нрав, в станице старика любили. Как-никак фронтовик, герой, в разведке служил, немца не раз в плен брал, за что имел множественные награды. И как только ему это удавалось при таком неброском телосложении?! Правда, как утверждал сам Тихоня, раньше он и ростом был выше, и плотности другой. Во всем винил женщин, «вышошавших ышо в молодости вше жизненные шоки».

Долгие годы старик дружил с бывшим учителем труда из местной школы. Павел Афанасьевич являл собой полную противоположность деду Тихоне: мягкий, интеллигентный, не терпящий сквернословия. По старой привычке трудовик ко всем обращался не иначе как по имени-отчеству. Дружка своего величал Дмитричем, и только если злился на него, то по полной форме — Тихон Дмитрич. Страшный матершинник, Тихоня при нем старался сдерживаться, сильно не разбавлять язык Пушкина речью Венечки Ерофеева, которого почитал за истинного русского интеллигента.

Встречались друзья часто. Никто в станице не мог понять, что сближало их, таких разных. Возможно, война, затронувшая их юность, которую они прошли до конца, а может, совместные попойки или просто закон притяжения противоположностей?..



Однажды в их компании появился новый приятель — молодой учитель истории, Константин Петрович. Кинштатин, как стал величать его Тихоня, был из другого района. Оженившись на местной учительнице начальных классов, он решил переехать к супруге.

Увлечшись историей станицы, основанной донскими казаками, Константин Петрович надумал создать школьный музей, для чего в свободное время вместе со своими учениками ходил по дворам, собирая крупицы того, что еще не кануло в Лету. Так и познакомился он с дедом Тихоней.

С тех пор Кинштатин стал частым гостем в доме старика, а вскорости их отношения переросли в дружеские. Один получил благодарного слушателя, а другой прекрасного рассказчика. Аглая Ивановна благосклонно приняла нового приятеля мужа, оказавшегося не сильно выпивающим. Компания часто собиралась в их доме.

Впервые встреча «на троих» произошла осенью, когда золотом листья были усыпаны дворы и улочки станицы. Так с легкой руки молодого историка они и стали называть свои вечерние посиделки «болдинскими», отдавая дань уважения великому поэту. Собираясь на очередную встречу, Константин Петрович непременно брал с собой блокнот, куда записывал рассказы. Постепенно их набралось много...

Казачий «дзен»

— Предок мой дюже смелым казаком был, — начал один из очередных сказов дед Тихоня, разливая по рюмкам сладкую наливку...

Пользуясь тем, что супруга отъехала в город



навестить семью старшего сына, старик пригласил их на пробу вишневки нового урожая. Аглая Ивановна, будучи не против таких встреч, увлечение мужа спиртным не одобряла, предпочитая встречать гостей «сухим» столом с чаем и пирогами.

— ...За отчаянную храбрость его и взяли служить в пластуны. Не счесть, скольких врагов порубал он за жизнь. Даже на японца ходил. Много чего интересного рассказывал...

Вспомнив геройского деда, Тихоня даже просветлел взглядом. Попробовав вишневки, Павел Афанасьевич запросил чего-нибудь покрепче. Константину напиток, напротив, приглянулся. Сам хозяин «дамский ликер» пить не стал, предпочтя, как и бывший трудовик, самогон.

— ...Самурай, он ведь как себя к бою готовит?! — продолжал гостеприимный хозяин. — Насупится, тяжело задышит, словно чует, что супротив казака ему никак не сдюжить, потом в особое состояние входит, в дзен по-ихнему, а по-нашенски — в ступор. Ну, это понятно: суровый взгляд казака не каждый сможет выдержать. Набычится, стало быть, самурайка, zenки свои, и без того узкие, в щелку сведет — это он так пугает — и, пригнувшись аж до самой земли, чтобы падать потом нешибко больно было, с рыбым криком «хамсай» кидается в драку.

— «Банзай», — поправляет его осторожно Константин, чем тут же вызывает легкое сопротивление рассказчика.

— Ну, можа, и так, спорить не буду, тока я такую рыбенцию не знаю. — Слегка насупившись, потомок лихого казака продолжает. — А как наш казак готовится к бою, знаешь? А! То совсем другая история. Казак кубанку на затылок поглыбже



натянет, чуб подправит, усищи пощиплет, бровь вскинет — это чтоб, значит, глаза ширше видели - и... как вдарит шашкой по тому дзену, так от плеча до седалища и разрубит. Правда, перед этим должен казак непременно пару стопарей принять. Ну, это как водится. Такой обычай у нас и доньше сохранился. Отсюда какой вывод делаем?

— Какой? — спрашивает Константин, у которого после третьей рюмки сладкой наливки щеки покрылись румянцем.

— Какой? — интересуется и Павел Афанасьевич, впрочем, не особо ожидая ответ. Как раз в этот момент он решает математическую задачу: сколько еще сможет выпить, чтобы потом самостоятельно вернуться домой. Несколько кусочков сала и две корки черствого хлеба на троих, скушающие на чайном блюде, уверенности ему не придают. И тут его мозг выдал единственно правильный ответ: надо послать Дмитрича в погреб за нормальной закусью. Тогда и посидеть можно будет от души.

— А вывод такой, — разглаживая крючковатым пальцем усы, хитро прищуривается дед Тихоня, — пока на Руси есть что выпить, границы всегда на замке будут! И никакой нам заморский дзен не страшен.

— Точно! — поддерживает гениальную мысль приятеля Павел Афанасьевич, добавляя: — А если и закусить будет чем, то, пожалуй, я сегодня у тебя останусь ночевать...

«Переделкино»

Всякий раз, когда Константин навещал старика, Аглая Ивановна шла на кухню готовить свой



знаменитый фруктовый пирог. Нравилось старушке, как молодой учитель, едва переступив порог, принимался осыпать ее комплиментами. Аглая Ивановна для приличия сердилась, говорила, что не привыкла к таким речам, но в душе светилась, потому как никто и никогда не говорил ей столь красивых слов. За это Константину доставались лучшие куски пирога...

Сегодня мужчины снова собрались вместе. Дождавшись, когда Павел Афанасьевич усядется рядом, дед Тихоня как-то странно взглянул на него, неспешно докурил сигарету и, прежде чем повести разговор, глубоко и многозначительно вздохнул.

— Вот верно же говорят: седина в бороду — бес в ребро! — начал он, перенеся взгляд на Константина. — Вчѐра я самолично засвидетельствовал эту мудрость.

Сидевший от него по правую руку трудовик заелозил на табурете, заворчал:

— Ну ладно тебе, Тихон Дмитрич! Если ты про тот случай... Будет вспоминать-то!

Хозяин укоризненно покачал головой.

— Да че там ладно, Палафанасьич! Жизнь — штука ломаная. Не захочешь, а по кривой пойдешь. Как говорится, в обход наших страстей никак не проскочишь. В общем, — он снова уставил взор на историка, — были мы вчѐра с Палафанасьичем у городе. Надо было ему простатит свой проверить, так я вызвался сопровождать его. Ну, чѐ ж, дело житейское, возрастное, кхе-кхе, — закашлялся старик, хитро поглядывая на приятеля...

— Да почки у меня, почки!.. — начал было возражать трудовик.

— Так и я ж о том! — дед Тихоня сделал удивлен-



ное лицо. — Где почки, там и простатит. Это тебе каждый скажет. В общем, долго нас в калидоре медики мариновали, допреж чем приняли его. Естественно, что мы проголодались. Решили, значит, зайти на обратном пути в привокзальную тошнилровку перекусить. Ну, взяли напитка патриотического...

— Водки, что ли? — хватаясь по привычке за ручку и блокнот, Константин отставил чашку с тимьянным чаем в сторону.

— Почему водки? Квасу! Пирожков там всяких...

— Патриотических? С икоркой, с грибочками? — хмыкнул Константин.

— Ну, можно и так сказать. Из капустки отечественной, — дед Тишка внимательно, словно врач на больного, посмотрел на молодого человека. — Ну и горяченького, как водится...

— Ага, значит, была все-таки водочка? — лицо учителя растянулось в ухмылке. — Я так и знал.

— Да какая водка, Кинштатин? Борщеца, говорю, горяченького! Холодрыга какая на дворе была! — прищутив веки, он уже с нескрываемым удивлением глядел на историка. — Ну, вот. Ухаживала за нами Нюрка — знакомая. Они раньше с мамашей своей у нас в станице проживали, да время пришло — сбегли в город. А чего тут делать? Нынче Нюрка в прислужницах в столовке той работает, — старик загадочно поднял бровь, оглянувшись на полуприкрытую дверь, ведущую на кухню. — Было у меня по молодости сношение с ейной мамкой, ага!

— Да не сношение, Дмитрич, а отношение! — поправил его Павел Афанасьевич. — Вечно ты путаешь понятия...



Дед выпрямился, многозначительно взглянул на него через язвительный прищур:

— Ну, можа, у кого и были отношения, за то говорить не буду, не знаю, а у нас с ней все было как у взрослых.

Трудовик махнул рукой, дескать, говори что хочешь, и схватился за чашку. Победно улыбнувшись, дед Тихоня продолжал:

— Нюрка — вся в мать! Огонь девка, глаз не оторвать. Был бы я помоложе, кхе-кхе... — вынув из пачки очередную сигарету, он неторопливо затянулся, выпустил тугую струю дыма в седые, с желтой характерной дорожкой от табака, усы. — Спереди у ней два больших бруствера, — схватив себя за тощую грудь, старик тщетно пытался продемонстрировать, какими прелестями обладала не известная Константину Нюрка, — а посеред их — окопчик, у котором глаз тонет. Со спины у ней еще краше. Вон, Палафанасьич не даст соврать. Он своими глазами большие куски выел у Нюрки в теле...

— Ну, ей богу, Дмитрич, перед молодежью неудобно за твои сочинения! — взмолился трудовик, по-прежнему не находя себе места и пряча взгляд.

— Спина у ней — словно мачта на сейнере, а что пониже — то палуба, — продолжал старик, не обращая внимания на его причитания, и вдруг запел: — «Ах, раскачай меня корма, чтоб вскружилась голова»... Когда Нюрка промеж столами проходит, палуба ейная, как в шторм, раскачивается. Я после войны цельный год на рыболовном флоте служил, знаю, что говорю. Вобщем, уштормила Нюрка мово дружка Фанасьича! Он хучь и старый, навроде меня, а как увидал ейную ватерлинию, так и тронулся умишком. Дык повезло, что



временно, не насовсем...

— Тихон Дмитрич, и что это ты все выдумываешь! — лицо Павла Афанасьевича вмиг покраснело. — Не было этого...

— Да че там нэ було?! — дед Тихоня часто переходил на казачий говор, что делало его речь более живой. Это особенно радовало Константина Петровича. — А хтось ей стихи сказывать стал, да все про любовь, точно поэт какой? Я всегда говорил: у умных мужиков психика слабая, быстро ушатывается, стоит им только бабенку какую посимпатичнее узреть. И стихи, главное, слышь, Кинштатин, стихи наизусть какого-то там Штампа читал. Немца, што ли?..

— Мандельштама! — поправил его вконец оконфуженный Павел Афанасьевич.

— О, его!

— Так это советский поэт был, еврей по национальности, а не немец.

— Ну, Штампу видней, хто он. Посля стихов товарищ мой любезный песню запел: «Разорвись душа на части, когда видишь столько счастья...», чем окончательно ввел девку в смущение. И заметь — с тверезого глазу! Мы с ним давно зарок дали: в городе не пить. Нюрка — девка сердешная, не обидчивая. Смеялась. Сказала, что это у нас возрастное. Так, дескать, у стариков прощание тела с гормонами проходит. Вот и вспомнил я про седину в бороду. Дюже сильно бес мово дружка вчѐра под ребра саданул, — он дотронулся до тела приятеля. — Кости-то целы, не сломал?

Неожиданно для них Павел Афанасьевич рассмеялся, прикрывая лицо ладонью, словно смутившийся подросток:

— Да-а, накрыло меня вчера что-то! Такая



красота, и мимо ходит. Вдруг подумалось: «Все, Павлуша, закончилась твоя жизнь! Уж больше никогда и никого ты не приласкаешь. Ну, разве что старушку свою». Так что-то обидно стало! А теперь стыдно. Перед Нюрой стыдно...

— Чего зазря стыдиться? — хохотал громче всех дед Тихоня, что было необычно для него. — Мужик и в зрелые годы должен им оставаться, трудовик ты или, к примеру, физик-математик, простудивший свой простатит на школьном сквозняке...

— Ну, вот, опять ты за свое, — помрачнел Павел Афанасьевич. — Почки я проверял вчера, почки!

— А я об чем?..

Привокзальная забегаловка в районном городе у местных маргиналов считалась местом культовым. Ее давно с чьей-то легкой руки называли «Переделкино». Впрочем, известный дачный поселок тут был ни при чем. Питейное заведение часто закрывали на ремонт после очередной серьезной потасовки завсегдатаев. Поговаривали, что не раз виной тому была работница Нюрка, чья возбуждающая «корма» доводила мужиков до драки.

Про йогов и саке

— Смотрел я давеча передачу про знаменитейшего йога, — встречая в очередной раз гостей, с порога начал дед Тихоня. — Это люди такие есть, кто на гвоздях спит да лампочки всякие с лезвиями жует-глотает, хай им здоровья прибавится. Представляете, ему, чтобы научиться расслабляться, двадцать лет сурьезных тренировок понадобилось! — пропуская их в комнату, продолжал он. — А я так скажу: глупый малой оказался тот йог,



хай его... Меня уже с первого стакана сивухи так расслабляет, что хучь на плечо клади да из хаты выноси – сопротивления моего не будет, потому как тело непослушное становится. Полная мне, можно сказать, нирвана наступает...

Рассаживая приятелей за стол, хозяин смачно хрустнул малосольным огурцом. Это был явный намек на то, что сегодня их будут потчевать чем-то более крепким, чем чай. Павел Афанасьевич заметно повеселел. Не так уж и часто Аглая Ивановна позволяла им выпить.

— Еще двадцать лет ушло у того йога, чтобы достичь просветления. — Словно заправский фокусник, ловким движением руки дед Тихоня явил на свет рюмки. — Ну, про сокрытые в русской водке силы и полное после ее приема просветление я вам гуторить не буду. Про то на Руси все знают. Это от их саки ничего не наступает, окромя изжоги, а от нашей родимой так прозреешь, что чертиков зеленых, танцующих вокруг, увидишь. Бывали у меня по молодости встречи с ними, э-хе-хе...

— Саке! — поправил его Константин. — Японцы так свою рисовую водку называют. Только йоги в Индии живут и саке не пьют.

— А это без разницы, где они проживают, - парировал дед. — Все одно никакой водки в ихней саке нету, хошь в Индии, хошь в Японии. Вот сколько в ней градусов, знаешь?

— Поменьше, конечно, будет...

— А тогда зачем в организме вводить саки, ежели он их почками выводит? Зачем дразнить нутро? Так и желудок можно споганить.

Выждав, когда супруга расставит на столе тарелки с привычной деревенской закуской -



салом да малосольными огурцами, дед Тихоня прокашлялся, вытер рукавом байковой рубашки усы, словно только что выпил.

— Рисовая, говоришь? Хм. Анисовую пил, полынную пробовал. Мы ее однажды с кумом сами сделали. Наполнили бутылъ травой, залили первачом... Не понравилась. Дюже вонючая оказалась. А вот из риса не догадались. Хорошо идет, не знаешь? — повернулся он к Константину.

— Нет, сам не пробовал, — повел тот плечами.

Утопив за пышными усами кусочек хлеба с салом, старик задвигал челюстями.

— Теперь дальше: еще двадцать годков этот несчастный человек готовился к тому, чтобы в нужный момент евона душа по всем ихним йоговским правилам покинула тело и переселилась в мир блаженства. Но тут закавыка вышла. Прямо перед тем как отдать богу душу, йог этот, хай ему полная нирвана будет, занемог чисто по-человечески. Лежит, зенки в потолок уставил, мысли всякие думает, а поделиться ему и не с кем. Рядом-то никого! Ни жены тебе, ни детей, ни другой какой родни, потому как всю жизнь эгоистом прожил. Все о своей мелкой душонке думал. Тут на него страх и напал, вишь какое дело. Совсем затрясло беднягу, залихорадило. «Может, — думает, — зря я годы свои сгубил на эти самые медитации? Кто же по мне тризну справлять будет?». Что и говорить, от такого «просветления» чуть с ума не сошел. Все его многолетние тренировки японо-индийскому коту под хвост пошли. А все почему? — старик многозначительно взглянул на Константина. — Ты как учитель истории обязан знать.

Молодой человек растерянно повел плечами. Готовясь услышать очередную байку старика о



жизни станицы, он невнимательно слушал историю про йога.

— Да потому, сердешный друг, что с соседями, особенно ежели они русские, дружить надобно! Мы ведь многому самураев этих с йогами научить можем, потому как русский человек издревле тренируется к переходу в рай, и семья тому только в помощь. У нас свой рецепт имеется. Вон, к примеру, Палафанасьича возьмем...

Бывший трудовик протестующе замахал руками:

— Дмитрич, я — плохой пример! Давай кого-нибудь помоложе.

— Евона душа, считай, стабильно раз в месяц на денек-другой тело покидает, уступая духу спирта. Тренировка? Еще какая! И в том есть свои плюсы. Ежели, к примеру, неправильно живешь, душе наверху завсегда подскажут, где оступился ее хозяин. Тогда и время будет исправиться. А что йог? Ну, вылетела душа, ну, обратно влетела. Нет тут ни смысла, ни настроения. А с каким настроением душа к Павлу вертается, а! Тут тебе и жена хлопочет, и детки с внуками уважение проявляют, бывает, что и чужие люди навещают, «скорая», например. Опять же и я справиться могу за самочувствие мово друга, а нальют — и выпью за возвращение христианской души на грешную землю. В этом, полагаю, и есть промысел божий. Такая вот йога по-русски получается. При таком раскладе и помирать не скучно, правда, Павло? — старик коснулся приятеля. — Что скажешь, сердешный?

— Не собираюсь пока, — поддев вилкой маринованный гриб, Павел Афанасьевич поднес его ко рту, но, внимательно всмотревшись, передумал. — Если только ты не решил нас сегодня потравить. Что-то гриб странного цвета.



— Партия новая, еще не еденная, — пошутил хозяин.

Не желая рисковать, Павел Афанасьевич на всякий случай отложил деликатес на край тарелки.

— Только после тебя, добрый человек.

Поддев вилкой обиженный гриб, Тихоня не раздумывая бросил его в рот, прошамкав:

— Надо нашу методику тренировок зашвидетьшествовать на вещь мир, чтобы не опоздать...

Шумно гремя посудой, в комнатку влетела Аглая Ивановна, неся в руках большую сковороду с шипящей картошкой и миску с квашеной капустой. В следующую минуту она не менее ловким движением, чем супруг, достала из глубин халата запотевшую чекушку.

— Ешьте, пейте, гости дорогие, а я зараз еще пирожков принесу...

Дождавшись, когда за женой захлопнулась дверь, хозяин, рассчитывавший на более пристойную емкость, виновато улыбнулся:

— Седня, это самое, по маленькой примем, чисто символически...

— Знал бы — бутылку принес, — бросил несколько обиженно Павел Афанасьевич. — С такой махонькой в нирвану точно не впадешь, хоть в русскую, хоть в какую.

Перехватив его полный сарказма взгляд, дед Тихоня посерьезнел.

— Ты, болезный, капустку вон ешь! С нее не потравишься, — сказал он и, повернувшись к Константину, с весьма серьезным выражением лица обратился: — Я тут чё подумал: вот сады райские, что при Отце нашем небесном растут... Это скока же в них фрухтов всяких имеется? Инте-



ресно, кто-нибудь гонит там самогон? Скока же его можно наварить! Во бухгалтерия, да?! – В глазах старика загорелся огонек: – Нет, ежели подумать, то и в раю казаку скучно не будет, завсегда найдет чем заняться.

– Дед, никак помереть собрался? – снова влетела в комнату Аглая Ивановна с большой тарелкой горячих пирожков.

– Дако все под водкой ходим... тьфу ты, под богом, говорю, ходим...

– Ну, за йогов! – произнес тост Павел Афанасьевич.

– Это да! – согласился с ним Тихоня. – Йог – он тоже человек, хучь и несчастный. Это ж надо, рис переводить на саки...

Тяжело вздохнув, Константин Петрович с тревогой взглянул на бутылку, с сожалением отодвигая блокнот на край стола. Вечер только начинался и, как подсказывала ему интуиция, обещал быть долгим...

«Бандиты»

Шестилетняя Варенька ходит на лечебные сеансы. Обычно веселая и разговорчивая, сегодня она пришла грустная.

– Что случилось? – спрашиваю.

Бросая исподлобья взгляд на сопровождавшую ее бабушку, девочка долго молчит, надув губки вишенками. Пожилая женщина страдает тугоухостью и в наш с Варей диалог не вслушивается. Подождав, пока она усядется в кресло в зоне ожидания и привычно погрузится в телефон, Варенька подходит к кушетке и скорбным голосом тихо произносит, продолжая следить за



родственницей через шелку в ширме:

— Вчера баба Лиза купила мне конфетки и... зарыла их в своем большом, страшном черном шкафу! Сказала, что будет выдавать по две штучки в день, чтобы я не разжирела. Вот зачем она так сказала? — выдохнула девочка печально, и ее глазки увлажнились. — Я, конечно, конфетки отрыла, — с трудом сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, продолжает она, — и... съела. А зачем она их спрятала? Разве можно прятать конфеты от маленьких детей?

Глядя, как все сильнее подрагивает ее скусившийся подбородок, предполагаю:

— Бабушка, конечно, кражу обнаружила и отругала тебя, да?

— Нет еще, но скоро... Ой, что будет! Она и так меня бандиткой называет.

В следующую секунду ее лицо светлеет.

— Вы не подумайте, дядя доктор, я не жадная! Я не все съела. Одну конфетку вам принесла. — С этими словами она разжимает кулачок, в котором все это время держала изрядно мятую конфету. — Возьмите, пожалуйста!

Тронутый ее искренностью, я все же пытаюсь отказать:

— Спасибо, Варенька, съешь сама.

— Ну пожалуйста! — крупные слезинки повисают на кончиках ее ресничек. — Я так старалась не съесть!

— Ну, раз старалась...

Делать нечего, надо спасать Вареньку. Беру сладость с намерением вернуть ей после сеанса. Снова взглянув в сторону бабушки, сбежавшей от действительности в мир интернета, повеселевшая Варя выдыхает со счастливой улыбкой:

— Фу-ух, теперь нас двое бандитов!..



Солнечный берег

Никогда ни за что не забыть мне ту погожую, тёплую осень семьдесят третьего года, удивительно ясную, нежную, неслыханно долго радовавшую сердце синюю просторного неба, сияние сочных красок, словно неведомым живописцем нанесённых на покрытые лиственным лесом склоны округлых гор.

Помню свет по-осеннему жгучего солнца, ещё не успевшего истратить летний свой пыл; жаркими пятнами лежал он на дорожках, устланных многоцветьем палой листвы.

И ещё помнится мне море — светлое, сияющее зеркало, отделённое от синевы неба плавным полукружием горизонта, ничем не омрачённое, недвижно-величавое, полное затаённой могучей силы и дышащее размеренно-спокойно, как безмятежно спящий ребёнок.

Это была странная осень, полная неизъяснимого очарования и в то же время охлаждающей сердце печали, и каждый миг её впечатан в память мою навеки.

Сколько раз потом томи-



**ИВАН
АКСЁНОВ**

Проза





тельными зимними ночами, когда бездомным щенком повизгивала вьюга за окном и далекий фонарь размазывал свой мутный свет по стене моей комнаты, пробуждался я от тупой боли в сердце и часами лежал без сна, в памяти своей листая, словно страницы старой книги, события той незабываемой осени.

Помню тусклое утро конца сентября, клочковатое грязное небо, помню мелкий назойливый дождь, нескончаемый западный ветер, так нещадно трепавший кусты на отлогом откосе горы, слева от дороги, извивавшейся прихотливо над морем, по самому краю обрыва, помню жёлтые от взбалаченного бурей песка волны с барашками пены, раз за разом набегавшие внизу на берег, оставляя темную кайму мокрой гальки и бурые полосы водорослей.

Допотопный автобус утробно подвывал утомлённым мотором и погромыхивал полуоторванным люком на крыше, пассажиров трясло и мотало на кочках и рытвинах дороги. Я сидел впереди, прикрывая поднятым воротником плаща лицо от холодного ветра, струйкой сочившегося сквозь неплотно задвинутое стекло. Меня мучило от бессонной ночи в вагоне поезда, от голода, от этой изматывающей душу и тело тряски, я мучительно ждал и дожидаться не мог того мига, когда же, наконец, доберусь до города.

Всхлипы ветра, беспокойное серое море и такое же хмурое, неприветливое небо, изнурительно-нудная качка на неровностях старой дороги — всё это до того измотало меня, что невольно кольнуло усталое сердце сомнение: а не лучше ли было бы мне провести этот отпуск в небогатом уюте квартиры, читая книги или уставясь в экран телевизора.

Но жалеть о содеянном было уже поздно: до



города оставалось совсем немного, да и друг мой Вадим Пожидаев, предупреждённый вчера телеграммой, теперь наверняка уже ждал моего приезда с нетерпением.

Когда мы с замиранием сердца миновали очередной головокружительный поворот, шофёр обернулся ко мне:

— Вы просили «Солнечный берег» показать? Вон он!

— Где? — спросил я, увидев разбросанные в широкой долине, прижатой горами к морю, белые здания небольшого городка.

— Да вон же — отдельно от других домов стоит! — водитель оторвал от рулевого колеса широкую короткопалую ладонь и махнул рукой куда-то влево. — Вон туда смотрите! Трёхэтажный домина. Розовый, крыша красная. Башенки по краям. Видите?

Я повёл глазами левее и наконец увидел здание санатория, где лечился Вадим. В центре его выдавался вперед большой полукруглый портик с белыми колоннами, двумя плавными дугами вели к нему каменные каскадные лестницы. Позади дома возвышались какие-то невзрачные постройки, а за оградой, по периметру двора, золотились пирамидальные тополя. Между дугами лестниц пестрела осенними цветами обширная клумба.

— А дом отдыха «Салют» где? — опросил я.

— Он дальше, вон за той рощей, — сказал шофер. — Километра два от «Солнечного берега». Да вы не волнуйтесь, это почти рядом с автовокзалом.

Вадима я узнал издали. Он сидел на скамье в полутёмной аллее, где сметал в вороха облетевшие жёлтые листья ветер с моря. На нём был светлый плащ и шляпа, надвинутая на глаза, голова его



была низко опущена. Ногу он положил на ногу, и худые пальцы его крепко сцеплены были под острым коленом.

Я шагал по широкой аллее, шелестя облетавшей листвою, но Вадим не услышал моих торопливых шагов: так глубоко задумался он. Лишь когда я присел на скамью рядом с ним и коснулся ладонью плеча, он взглянул на меня, и лицо его вдруг озарилось довольной улыбкой.

— Ах ты, старый бродяга! — вскочив со скамьи, обрадованно воскликнул он. — Прикатил всё-таки, не обманул!

Мы крепко обнялись и долго так стояли, гулко хлопая друг друга по спинам и глупо смеясь.

— Знаешь, Паша, — сказал он, когда мы, вдоволь потискав друг друга, сели наконец на скамью. — Мне, честно признаюсь, не особенно верилось в твой приезд. Понимаешь, отвык я от такого везенья. Когда у меня всё так удачно складывается, как сейчас, мне немного не по себе; как-то уже привык я к тому, что за всё хорошее приходится потом платить втридорога.

— Не узнаю тебя, ты становишься суеверным, — шутливо упрекнул я его. — Лучше скажи, как у тебя сейчас со здоровьем.

— И здоровье у меня — слава Богу, — сказал Вадим, — и Дина здесь, со мною, и всё это южное великолепие... — он махнул рукою в сторону моря, сверкавшего под лучами наконец-то прорвавшегося сквозь завесу туч солнца, и продолжал: — Вот и ты ко мне приехал. О такой удаче я и мечтать не смел. И мне от этого моего везения что-то не по себе: а чем я за всё это платить буду?

— Стихами, конечно, — сказал я. — Чем же ещё поэт платить может?

— Да кому они нужны, стихи мои? — спросил он,



и я ощутил в его голосе обиду и горечь. — Какой дурак сейчас их читает? Время лириков прошло, нынче в почете карьеристы-прагматики. Им не стихи нужны, а крепкие локти. Эти люди стихов не читают. Впрочем, и прозу тоже. Кроме партийных документов, конечно.

— Ты не прав: стихи ещё многим нужны, — попытался я успокоить его. А с книжкой у тебя как? Скоро выйдет?

— Какое там! Жди у моря погоды! Похоже, что за меня наши власти крепко взяться решили. Мой редактор, старый хрен, то мягко стелил, а то вдруг повернулся на сто восемьдесят градусов. То в стихах у меня оптимизма маловато, то в мелко-темье меня обвинил: сколько, мол, про любовь писать можно? А где же героические образы, где воспевание трудовых подвигов? Чувствую, что книжку мою зарежут.

Несколько минут мы молчали, слушая отдалённый мерный шум прибоя и шелест ветра в листве. Попискивали синички; издали, приглушенные расстоянием, доносились резкие крики чаек. Пахло солёным ветром и увядшими листьями.

Не знаю, о чем думал в это время Вадим, а мне вспомнилась вдруг наша первая встреча.

Мы, первокурсники-филологи, первого сентября пришли на лекцию по введению в языкознание. Парней на курсе оказалось совсем мало — всего одиннадцать человек. Мы устроились в конце аудитории, за последней партой, и быстро пере-знакомились. Чувствовали мы себя немного не в своей тарелке под перекрестными взглядами нескольких десятков пар девичьих глаз.

Когда прозвенел звонок, гул голосов мгновенно затих. И тут в аудиторию вошел и на несколько мгновений задержался в дверях стройный моло-



дой человек в клетчатой рубашке. Я было подумал, что это преподаватель, но он, оглядев аудиторию, вдруг направился к нашей парте. Девушки все разом повернули головы и провожали его взглядами, пока он не сел рядом со мной.

В том, что он привлёк их внимание, ничего удивительного не было: Вадим Пожидаев — так он представился нам — был необычайно красив. Что-то испанское было во всём его облике — в чёрных волосах, густых смоляных бровях, оливковом цвете кожи.

Был он весел, остроумен, общителен, и мало кто догадывался, что у него чахотка, следствие голодного военного детства.

Уже тогда он писал талантливые стихи, время от времени публиковавшиеся в областной молодёжной газете, и кое-кто из местных литературных критиков прочил ему большое будущее.

Вскоре мы с ним стали неразлучными друзьями и, даже расставшись после окончания педагогического института, не теряли друг друга из виду.

— Ты только посмотри, — вернул меня к действительности голос Вадима, — небо как расчистилось! Да и ветер, похоже, слабеет. Вот увидишь: завтра будет отличная погода!

И в самом деле, облака рассеялись, и ветер перестал кружить по асфальту листья и холодить лицо. Море всё ещё шумело, но крики чаек стали звучать тише, глуше, словно сквозь вату.

— Ты не женился ещё? — вдруг спросил Вадим.

— Пуганая ворона куста боится, — грустно усмехнулся я. — Хватит с меня двух моих браков, сыт по горло семейной жизнью! Да и на ком жениться? С возрастом разборчивее становишься, не так-то просто теперь женщину по сердцу найти.

— А Анна как?



— Замуж вышла. Вскоре после того, как мы развелись. Кажется, нашла наконец свой идеал.

Мы помолчали.

— А ты как? — в свою очередь поинтересовался я. — Тоже все еще в холостяках ходишь?

— Пока да, но думаю, что это ненадолго. Скоро мы с Диной поженимся. Как только домой вернёмся, сразу в ЗАГС. Все уже решено.

— Ну что ж, - сказал я. — Рад за тебя.

— А вот и она! — вдруг встрепенулся Вадим. — Сейчас я вас познакомлю.

По аллее шла в нашу сторону стройная девушка в чёрном глянцево-м плаще, туго перетянутом по тонкой талии поясом. Вадим встретил её и подвёл ко мне.

— Дина, это мой старый друг Паша, — представил он меня. — Я не раз тебе про него рассказывал.

Я пожал протянутую мне по-детски тонкую, холодную как ледышка, ладонь с длинными пальцами.

В первую минуту нашего знакомства Дина как-то не приглянулась мне. Что-то декадентское, как мне показалось, было в её тонком бледном лице с огромными, как на старинной иконе, чёрными глазами и пухлыми губами, во всей ее изящной, хрупкой фигуре, в этой узкой ладони с нежными голубоватыми прожилками под восковой кожей. Она казалась девочкой, только недавно поднявшейся с постели после изнурительной болезни.

Из писем Вадима я знал, что ей двадцать шесть лет, что она — скрипачка камерного оркестра областной филармонии.

Познакомились они три года назад в туберкулёзной больнице, куда Вадим попал чуть ли не в безнадежном состоянии, с сильным горловым



кровотечением, которое случилось с ним после того, как его оставила жена, уставшая за два года совместной жизни заботиться о больном муже.

— Вы надолго к нам? — спросила Дина. Голос у неё оказался удивительно нежный, «музыкальный», как я определил его про себя, и у меня невольно ёкнуло сердце: до того он напомнил мне мою давнюю, но и по сей день грустно памятную безответную любовь.

Мы провели в этот день вместе более четырёх часов, гуляя по многолюдному парку, где сладко пахло увядшей травой и самшитом, где крупные рыжеватые, с голубыми «зеркальцами» на крыльях сойки перелетали с дерева на дерево, не боясь людей. Вечером мы поужинали и даже распили втроём бутылку вина в удивительно уютном и тихом кафе «Огонёк». Потом я проводил друзей в санаторий, а сам не спеша пошёл к себе, в дом отдыха. Солнце село, на западе небо охвачено было жёлтым пламенем заката, на котором чётко рисовались чёрные стволы деревьев. Не знаю почему, но от этого холодного лимонно-жёлтого неба вдруг стало зябко сердцу, невыразимая словами печаль овладела мною, не грусть, что посещала меня время от времени в годы юности, не та лёгкая, прозрачная грусть, смягчённая надеждой на будущее счастье, которое, как мне казалось, непременно придёт ко мне однажды, потому что есть у меня то, что необходимо человеку для преодоления жизненных невзгод, — молодость, сила, здоровье; нет, это было иное чувство — глубокая печаль, что сродни тоске и отчаянию. Почему-то казалось мне, что жизнь уже кончена, что никогда уже не придётся мне испытать счастье семейной жизни, что скоро я вернусь в свою пустую запылённую квартиру, где ни одна живая



душа не обрадуется моему возвращению. Жизнь моя не удалась, и в этом у меня больше не было сомнений. Я бессмысленно растратил себя на ничтожные дела, на ненужную, пустую работу, не принесшую мне ни достатка, ни морального удовлетворения. И невольно почувствовал я, что завидую своему другу, завидую той нежности, с какой смотрит на него Дина, и с горечью подумал о том, что никто никогда не смотрел на меня так: как видно, не заслуживаю я такой любви!

Заснул я в эту ночь поздно, и даже во сне мерно качали меня холодные волны печали.

Вадим оказался прав: на следующий день и в самом деле установилась отличная погода. Васильковое небо не омрачало ни одно облачко, под жаркими лучами солнца тротуары вскоре высохли и посветлели.

Проснулся я в это утро разбитый и хмурый, но вспомнил о Вадиме и Дине, о том, что сегодня опять встречаюсь с ними, и на душе стало легче.

Тёплые, погожие дни, с медленно плывущими по воздуху металлически отблескивающими струнами паутинок, с весёлым гомоном птиц, с жарким, словно в летние дни, солнцем установились, похоже, надолго.

Каждый день, покончив с утра со всеми положенными процедурами, Вадим и Дина выходили ко мне, и мы подолгу гуляли в окрестностях санатория, где поредевшие кроны деревьев неслышно роняли нарядные листья, и солнечный свет шафранными пятнами падал на мягкий лиственный настил. На окраинах города, во многих дворах, вьющийся виноград ещё не был убран, и терпкий дурманный аромат «изабеллы» щекотал ноздри.

Часто к нам присоединялась подруга Дины, красивая, начинающая полнеть женщина. Звали



её Галиной, но мне почему-то казалось, что имя это совершенно не подходит ей с её белокурой рубенсовской красотой. И ещё мне трудно было поверить в то, что она, такая полнотелая и розовощёкая, недавно перенесла ту же болезнь, что и хрупкая, бледная Дина.

Как-то Вадим сказал мне:

— Похоже, что наша Галя влюбилась в тебя. Ты замечал, какими отчаянными глазами она на тебя смотрит?

Разумеется, я ничего подобного не видел, потому что всё моё внимание занято было Диной. С каждым днём всё труднее было дожидаться того мгновения, когда я вновь смогу увидеть её.

«Что же я делаю? — укорял я себя. — Она невеста моего друга, лучшего друга, ради которого я готов на любые жертвы, и вот тебе на: взял да и влюбился в его подругу. Как мальчишка влюбился! Никогда не думал, что окажусь способен на такую подлость!»

Потом начинал успокаивать себя:

«Да кому от этого может быть вред? Одному мне. Ни Вадим, ни Дина о моей любви никогда не узнают, так чего же я так терзаюсь? Да и любовь ли это? Ну, увлёкся немного, с кем не бывает? Скоро всё пройдёт само собой!»

Но в глубине души я понимал, что это — любовь и что с каждым днём она становится всё сильнее и мучительнее.

Несколько раз поднимались мы втроем (Галина по горам лазить не любила) к Чёрной скале, любимому месту моих друзей. Там, в окружении кустарника, была каменная площадка, заканчивавшаяся нешироким, но глубоким каньоном. С трудом преодолев боязнь высоты, я подошёл к самому краю, чувствуя, как от страха слабеют ноги и



начинает ныть низ живота, заглянул в пропасть и отшатнулся: глубоко подо мною, шумя, несясь поток. На огромных валунах в его русле и на отвесных каменных стенах прилип разнообразный мусор: видно, во время недавних дождей в верховьях гор вода в реке поднималась очень высоко.

Я отошёл подальше от края ущелья, туда, где возвышался темно-серый утес, именуемый у местных жителей Черной скалой, и сел рядом с Диной на разогретый солнцем каменный выступ. Вадим стоял у самого края пропасти (видимо, страх высоты был ему неведом) и смотрел вниз, в глубоком раздумье.

— Если бы вы знали, — негромко оказала мне Дина, — как я боюсь за него. Он уже три операции перенёс, у него вся грудная клетка искромсана. Одно лёгкое удалили полностью, а о том, что осталась от другого, я могу только догадываться. Сам он об этом никогда ничего не говорит: боится, что его жалеть будут, а он этого не любит.

— Да вы не волнуйтесь, — поспешил я успокоить ее. — Я хорошо Вадима знаю: он живуч, как кот. Он из одного упрямства помирать не станет!

— Дай-то Бог! — горячо воскликнула Дина. — Я без него не смогу. Встреча с ним спасла меня. С первым мужем мне пришлось расстаться из-за моей болезни. Кому нужна жена-туберкулезница, когда вокруг столько здоровых баб! А Вадим тоже крушение в семейной жизни перенёс. Вот мы и полюбили друг друга. У нас столько общего! Он один даёт мне силы на свете жить. У меня болезнь не так далеко зашла, как у него, и не дай Бог случится с ним что — мне конец тогда!

Чем больше я общался с Диной, тем сильнее тянуло меня к ней. Я ощущал непреодолимую потребность видеть её бледное, словно из гипса



вылепленное лицо с этими жгучими чёрными глазами, от взгляда которых тревожно и сладко замирало сердце. Вечером я уже с нетерпением ждал утра, потому что каждый новый день сулил мне радость общения с моими друзьями.

В один из ослепительно ярких дней этого чудного бабьего лета Дину пригласили в местное педагогическое училище для участия в концерте, посвящённом двадцатипятилетию этого учебного заведения.

Пока Дина одевалась, мы с Вадимом сидели в аллее, на той самой скамье, на которой увидел его я в день моего приезда.

Вадим долго молчал, задумчиво уставившись в одну точку. Молчал и я, не желая мешать его раздумьям.

— Знаешь, старик, — сказал он наконец грустно. — Я хорошо понимаю, что долго на этом свете не протяну...

— Ну что ты! — возразил я. — Ты совсем неплохо выглядишь. Не то, что два года назад, когда мы последний раз виделись.

— И тем не менее, я должен быть готов к худшему. Не хочется мне обнадеживать Дину, когда я сам ни в чем не уверен. Да она и сама хорошо понимает, что у любви нашей — век недолгий. Но ей хочется, чтобы мы поженились, чтобы мы были вместе до конца, даже если конец этот наступит скоро...

Он опять замолчал. А у меня так больно защемило сердце, что невольные слезы выступили на глазах.

— Ну что ты! — горячо воскликнул я и сразу же почувствовал, что это получилось у меня фальшиво: этаким здоровяк-бодрячок пытается успокоить



тяжело больного человека. — Всё будет хорошо! Вот увидишь!

Вадим ничего не сказал в ответ, только посмотрел на меня странным взглядом человека, не верящего в то, что ему говорят.

Дина вышла через полчаса. Она была необыкновенно красива в строгой чёрной паре и белой блузке с пышным кружевным жабо, в чёрной широкополой шляпе. Я не мог глаз оторвать от неё, пока она спускалась по каменной лестнице и неторопливо шла к нам, звонко стуча каблучками по бетонным плитам дорожки.

Вадим взял у неё скрипку, и мы пошли на остановку автобуса.

Я боялся, что студентки, несомненно, воспитанные, как и большинство молодежи, на эстрадной музыке, не очень доброжелательно отнесутся к классике. Однако, к счастью, я ошибся: едва Дина коснулась струн смычком, зал замер, затаив дыхание.

Вначале она исполнила произведение, которое я знал и любил — «Мазурку, сочинение 11, си минор» Эжена Изаи. Грампластинку с записью этой пьесы я часто ставил дома на проигрыватель, и она удивительным образом успокаивала меня, как бы ни был я взвинчен.

Потом настала очередь «Цыганских напевов» Пабло Сарасате.

Я не получил никакого музыкального образования, но классическую музыку люблю с детских лет. Особенно нравится мне скрипка, её нежный колдовской голос, подобный голосу любимой женщины.

И теперь, слушая скрипку Дины, я невольно смежил веки и всем существом своим отдался мощному потоку звуков. Мне показалось, будто



пол и скамья уплывают из-под меня куда-то в сторону и могучее течение стремительно уносит меня сквозь мрак в неведомую даль, на широкий простор, то мерно качая на волнах, то плавно кружа в водоворотах, и где-то там, впереди, уже брезжит яркий блик солнечного света, он растёт, ширится, охватывая всё большее пространство, и мне легко и одновременно грустно, и почему-то так не хочется, чтобы течение это иссякло или вынесло меня на твердую землю.

Затих последний аккорд, и тут грянул шквал аплодисментов. Я открыл глаза. Дина, несколько раз поклонившись, — как грациозно она проделала это! — пошла за кулисы, но зал бесновался до тех пор, пока она не появилась вновь. Теперь она вышла уже без скрипки. Лицо её горело, она улыбалась счастливой и в то же время немного растерянной улыбкой. Две девушки преподнесли ей букеты. Я взглянул на Вадима. В глазах его стояли слезы. Честно признаться, подобной сентиментальности я от него не ожидал. Впрочем, и сам я был тронут до слёз игрой Дины и таким горячим откликом зала.

Назад мы шли пешком. Дина всю дорогу говорила и говорила, горячо, возбуждённо — о том, какое это счастье для артиста, поэта, художника — признание публики, что ради таких вот мгновений стоит жить на свете и даже терпеть какие угодно невзгоды.

Возбуждение моё было так велико, что, проводив друзей, я не мог усидеть дома. Я пошёл на берег моря и часа два ходил по пустынному ночному пляжу. С легким ласковым шорохом набегала на гальку вода, крупные звезды колыхались на чёрной поверхности моря, вдали, на самом краю мира, медленно и совершенно беззвучно, славно в



немом кино, проплыл сияющий белыми огнями корабль.

Я дошёл до того места, где кончался пляж и прямо из моря вырастали высокие скалы, зубчатой стеной рисовавшиеся на фоне звёздного неба, и долго сидел там на тёплом ещё камне, куря сигарету за сигаретой. Я думал о Дине и о Вадиме. Тяжёлая болезнь познакомила и соединила двух этих несчастных, одиноких и талантливых людей. Они созданы друг для друга и наверняка сумеют быть счастливыми вместе. Оба они дороги мне, и, как бы ни любил я Дину, я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы повредить другу моей юности или хотя бы на миг омрачить его душу.

То, что я испытываю, несомненно, любовь. Безответная любовь, что причиняет человеку немало страданий, но лучше такие страдания, чем бесцветная жизнь без любви.

Давно уже, много лет назад разуверился я в том, что смогу когда-нибудь полюбить вновь, но теперь, после встречи с Диной, понял вдруг, что способность любить не умерла во мне, а только затаилась на время.

Скоро, совсем скоро, меньше, чем через неделю, я уеду отсюда, и одни только письма будут связывать меня с моими друзьями. И никогда никакая тень не омрачит нашей дружбы.

Эта мысль успокоила меня, и спал я в эту ночь долго и крепко.

Это были прекрасные дни. С моря дул теплый, ласковый ветерок, солнце дробилось на мелкой ряби на тысячи колющих глаза бликов.

На пляже яблоку негде было упасть, и многие любители солнечных ванн даже осмеливались купаться, хотя вода была уже довольно прохлад-



ной.

Мы с Вадимом и Диной не купались и не загорали. Мы гуляли по пляжу или сидели где-нибудь неподалеку от моря в тени и с наслаждением вдыхали пахнувший солью и йодом воздух.

Как-то я попросил моего друга прочитать что-нибудь из его новых стихов.

— Не стоит, пожалуй, — возразил Вадим. — Когда я читаю их вслух, они мне такими чужими кажутся. Чужими и бесцветными. Кто знает, может, они и в самом деле никуда не годятся? Не пора ли мне на прозу перейти? Помнишь, в наши студенческие годы Лемешев пел: «Но лишь одни страдания мне принесли сонеты»? Мне мои сонеты тоже немало огорчений доставили. Не забыл, как меня за стихи чуть было из комсомола не турнули?

— Нет, не забыл! — засмеялся я. — Наш комсомольский вождь Костя Карпухин был пламенный борец за коммунистические идеалы! Нюх у него был прямо-таки собачий: он за тысячу вёрст чуял, чем в Москве начальство дышит. Да, это был боец, натуральный гладиатор! Как вспомню, как он со «стилягами» воевал не на жизнь, а на смерть — узкие штаны да клетчатые юбки искоренял — прямо жуть берёт!

— Представь себе, — обратился Вадим к Дине, — Косте до того на Хрущева быть похожим хотелось, что он даже где-то ухитрился рубаху с украинской вышивкой добыть. Думаю, ему до смерти хотелось и лысину такую, как у вождя, иметь, да вот беда — кудри у него очень уж буйно росли!

— Это просто замечательно, что при Сталине он всего-навсего школьником был! — подхватил я. — Усы еще не росли, не то он обязательно бы отраслил такие же, как у вождя всех народов. А уж



сколько космополитов он бы в гроб загнал, с его-то рвением!

— Он и меня хотел из комсомола за космополитизм исключить, — сказал Вадим Дине. — Придрался к одной строчке из моего сонета. По правде оказать, я и до сих пор никакой крамолы в строчке этой не вижу. Что-то там было насчет моей тоски «по морским просторам и тавернам чужих городов». Начитался Грина, вот и захотелось испытать дальние странствия. Бог ты мой, как он меня срамил! «Это низкопоклонство перед Западом! Это недостойно советского студента, комсомольца!» Правда, я так и не понял, при чем тут Запад, я его ни словом не упомянул. А он не унимается: «У великих советских поэтов надо учиться: у Симонова, Щипачева, Исаковского! «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна!» — вот как настоящие патриоты пишут!» Не знаю, чем бы всё это кончилась, если бы не Паша. Он его одной фразой обезоружил. Встал да и говорит таким смиренненьким голоском: «А как же тогда с Маяковским быть? Это ведь он написал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже».

Я расхохотался:

— Костя, бедный, как разинул рот, так и забыл его захлопнуть! Стоит и смотрит жалко так: видно, никак от Маяковского такого хулиганства не ожидал! А я брякнул это и сам перепутался: а что, если он знает, как там дальше у Маяковского, и тут же, при всём честном народе, разоблачит меня? А ведь наш классик сказал дальше: «Если б не было такой земли — Москва». На моё счастье, Костя Маяковского, видимо, только в пределах школьной хрестоматии читал, да и то не очень внимательно. А остальные, если и знали продолжение цитаты, то промолчали — не захотели этому юно-



му карьеристу подыгрывать.

— И мы отделались лёгким испугом! — подвел итог сказанному Вадим.

— Ничего себе — «легким испугом»! — возмутился я. — По выговору нам с тобой вкатили! Ну, тебе, понятно за что, а я тут при чём оказался? Великого пролетарского поэта процитировал не вовремя — всего-то делов!

Мы долго смеялись, даже Дина хохотала до слёз.

— А вообще, Вадим был самым махровым диссидентом и реакционером, — начал я разоблачать своего друга перед его невестой. — Когда в Венгрии случилось восстание, он как-то при людях взял и брякнул: «Если б я был сейчас там, я бы присоединился к восставшим!» Конечно, Сталина уже не было, но пострадать за такие слова и при Хрущеве можно было, если бы кто-нибудь донёс куда следует. К счастью, стукача на курсе не нашлось. Вот такой был «болтун, находка для врага». Видно, мало били!

— Ну, это ты зря! — возразил мне Вадим. — Уж чего-чего, а битья в моей жизни хватало! И сейчас со мною не очень-то власти церемонятся. Такова уж видно, судьба поэта в нашей «самой читающей стране». Как известно, «поэт в России больше, чем поэт», он еще и мальчик для битья.

Он вдруг замолчал и глубоко задумался о чем-то. Видно, вспомнилось ему что-то не очень веселое...

На воскресенье намечен был пикник на острове.

В этот день я проснулся на рассвете, сделал зарядку в маленьком скверике перед домом отдыха и побежал к морю.



Солнце ещё не встало из-за горизонта, перистые облака, словно кем-то уложенные ровными рядами, медленно наливались рубиновым светом, становились всё алее, жарче, алый цвет снизу, у края земли, постепенно перешёл в огненно-оранжевый, а над головой облака тлели, словно малиновые угли, и сквозь них проступала густая зелень неба. Где-то на окраине города радостно пели петухи, и издали, приглушенные расстоянием, доносились звуки автомобильных клаксонов.

Море лениво шевелилось у моих ног, словно вздыхая, и вода, накатывавшаяся на гальку, была совершенно прозрачной, и в ней вспыхивали розовые, рубиновые, оранжевые искры. И от этого спокойного, едва заметного взгляду движения морского простора, огненных искр в зеленоватой прозрачности воды, от этих далёких звуков жизни на меня сошло удивительное спокойствие, какого давно уже не знал я, спокойствие человека, который счастлив и верит, что счастье это дано ему надолго.

Верил ли я в то, что дальнейшая жизнь моя сложится удачно, что все мои беды и горести останутся в прошлом? Едва ли. Весь мой опыт говорил мне, что в жизни больше тяжёлых минут, чем счастливых. Впрочем, в то утро я не особенно задумывался об этом.

Небольшой пароходик с громким именем «Базальт» отчалил от пристани ровно в одиннадцать утра. На палубе царило праздничное оживление: пассажиры, разбившись на группы, громко переговаривались, смеялись, нестройно пели под баян песни — в общем, вели себя так, как и положено отдыхающим, вырвавшимся из надоевших стен и разогретых солнцем пляжей на необозримый



морской простор.

Мы с Диной и Вадимом (Галине немного нездоровилось, и она осталась дома) стояли на корме, опершись о фальшборт, и смотрели назад, на удаляющийся город и на пену, что таяла позади корабля. Город постепенно отодвигался вдаль, в серебристо-голубое марево, всё белёсее, всё воздушнее становился совсем недавно ещё пёстрый ковер покрытых кустарником склонов, с каждой минутой всё более выцветая, превращаясь в подобие блеклого старинного гобелена. А в левой стороне от города Чёрная скала казалась уже крошечным голубоватым акварельным мазком на чистой бирюзе небосклона.

За кормой теплохода с пронзительными криками метались вечно голодные чайки, выпрашивая пищу. Дина достала из сумки батон, отломилась от него и стала крошить его и бросать птицам. Чайки хватали хлеб на лету, если же он падал в воду, то на него бросалось сразу несколько птиц, крича отчаянно и злобно. Дина весело смеялась, наблюдая их возню.

До этого дня я ни разу не видел её такой веселой и счастливой. Глаза её чаще всего были печальны, даже когда она смеялась. Казалось, будто она затаила в душе какое-то непроходящее горе, отравляющее каждую минуту её жизни, или живет в постоянном предчувствии неотвратимой беды.

Но в этот день она совершенно преобразилась. Я только теперь неожиданно для себя обнаружил, что глаза у неё не чёрные, как мне казалось раньше, а тёмно-карие, с золотыми искорками вокруг чёрных точек зрачков. Лицо ее утратило привычную бледность, стало нежно-матовым и даже слегка порозовело, красота её перестала казаться нездешней, загадочной, немного болезненной,



какой виделась мне прежде, теперь в Дине чувствовалось огромное жизнелюбие, движения её стройного тела были необыкновенно грациозны, и я глаз оторвать от нее не мог — до того хороша была она в этот ослепительно солнечный день.

Вадим тоже был красив. Одет он был во всё белое: полотняную кепку, легкую рубашку с короткими рукавами, хлопчатобумажные брюки, и всё это оттеняло оливковую бледность его лица, выбритого до синевы. В этот день он показался мне прежним юношей, каким я знал его по институту, тем весёлым и дружелюбным человеком, который был душой любой компании.

А теплоход неудержимо шёл вперёд, форштевень раздвигая воду и оставляя позади себя широкую дорогу, окаймленную двумя расходящимися полосами пены, и всё так же отчаянно и сердито кричали за кормою чайки. Город и горы значительно уменьшились в размерах и обесцветились, и лишь столб дыма, косым клином поднявшийся в небо над городской окраиной, был маслянисто-черным и почему-то тревожил сердце, словно это был намёк на то, что не всё в нашем мире спокойно и благополучно.

Теплоход подошел к острову. Загремела, залязгала якорная цепь, тяжелый якорь с плеском вошел в воду. Белые шлюпки доставили нас на берег. По выщербленным ступеням, высеченным в камне, поднялись мы наверх, туда, где с незапамятных времен сохранились руины старинной крепости — покрошенные холодами и солнцем обомшелые камни и мелкий щебень, вдавленный в землю.

Пассажиры «Базальта» разбрелись по всему острову в поисках укромных уголков, заняли все зелёные лужайки, расстелили газеты и полотенца



и стали выкладывать на них из сумок продукты.

Мы остались наверху, среди руин, втроем, достали из портфеля бутылку болгарского вина, три металлических походных стаканчика, сыр, колбасу, хлеб.

Становилось всё жарче. Легкие перистые облака длинной ажурной полосой протянулись с востока на запад по северной стороне небосвода, слепя глаза льдистой белизной, на юге же небо было ясным и синим.

— Я хочу выпить за тебя, Паша, — сказал Вадим, когда я наполнил стаканчики. — За тебя и за нашу дружбу. Немало людей называли себя моими друзьями, да я не сумел оправдать их доверия: так и остался бедным и безвестным. А когда меня болезнь в бараний рог скрутила, их всех будто корова языком слизала! А кому охота с больным возиться? Первой жена моя сбежала. У неё, оказывается, давно уже другой был. И сына увезла, боялась, как бы я его не заразил. Один ты, Паша, меня не бросил: я и больной и нищий дорог тебе остался. Спасибо тебе, Паша, за дружбу!

Я смущённо пробормотал что-то невнятное, и мы выпили.

— Болезнь, конечно, штука паскудная, — продолжал Вадим, — но я благодарен ей за то, что она с Диной в больнице свела меня. А выжил я только из упрямства. Разозлился и на болезнь, и на себя, хлюпика несчастного, и решил: черта с два помру! У меня ещё немало дел несделанных осталась! О друзьях, что от меня тягу дали, и о жене я постепенно перестал жалеть: зачем жалеть о предателях? Единственный, о ком душа болит, — это сын. Представь себе, она так и не позволила мне с ним увидеться, даже когда моя болезнь перестала заразной быть.



Дина смотрела на него полными слёз и нежности глазами.

— Приедем домой и сразу свадьбу с Диной сыграем. Никакой пышности, самый узкий круг людей. Я очень надеюсь, что ты, Паша, шафером будешь.

— А куда я денусь? — шутливо сказал я и добавил: — Непременно приеду.

— А с Диной, я в этом убежден, мы теперь до самой смерти не расстанемся, — сказал Вадим. — Помнишь, в чём Грин видел вершину семейного счастья? «Они жили долго и умерли в один день». Хотелось бы, чтобы это о нас было сказано!

Я смотрел на них и думал о том, какая это прекрасная пара. Изведав в жизни немало невзгод: болезнь, предательство друзей и родных, они нашли друг друга. Мне они напоминали два обломка кораблекрушения, прибитых бурей один к другому.

Мы провели на острове более двух часов. Кое-кто из отдыхающих, разогретый жарким солнцем и спиртным, полез купаться, другие уже всюю горланили песни — одним словом, веселье было в самом разгаре, как вдруг капитан получил по радио штормовое предупреждение и приказ немедленно вернуться в порт. Мы сели в шлюпки, и вскоре теплоход взял курс на город.

Бабье лето кончилось внезапно.

К вечеру по небу поползли клочковатые серые тучи, задул нижущий насквозь северо-западный ветер, сверху стала сеяться водяная пыль. Тучи сгущались, становились всё тяжелее, темнее, и наконец хлынул холодный осенний дождь.

Я сидел в потёмках у окна своей комнаты. Мой



сосед уже спал, несмотря на раннее время: он вообще всегда ложился рано.

Странный это был человек — приземистый, полнотелый, с круглым бабьим лицом и широкой, плоской, как морская галька, лысиной. Обычно сразу же после завтрака он уходил на пляж, где всегда было многолюдно: отдыхающие, пользуясь теплой погодой, усердно принимали солнечные ванны. Там он, переходя с места на место, беззастенчиво-плотоядно разглядывал полуобнажённых женщин. Выбрав себе какую-нибудь жертву, он присаживался на корточки и пялил на неё свои крохотные бесцветные глазки до тех пор, пока она в смущении не уходила с пляжа. Тогда он находил другую, и всё повторялось сначала. Под вечер толстяк пропускал на базаре два-три стаканчика мутного местного вина и возвращался в свою комнату уже изрядно навеселе. Он садился за стол напротив меня и принимался рассказывать мне что-нибудь бессвязное, нелепое, как и он сам. Чтобы избежать этих нудных словоизлияний, я старался подольше задержаться где-нибудь: шёл в кино, на берег моря или даже на танцплощадку, хотя танцевать до сих пор так и не научился.

Но в этот день непогода рано загнала меня в комнату. Я не знал, чем занять себя. Включать электричество я не стал, потому что стоило мне сделать это, как сосед мой мгновенно просыпался и начинал вздыхать, стонать, хныкать, жаловаться на то, что все, кому не лень, издеваются над ним, бедным, беззащитным стариком, что никто его не любит и не жалеет, потом начинал угрожать, что завтра же уедет отсюда, несмотря на то, что путевка стоила ему больших денег, и пусть тогда стыдно станет тем, кто не сумел оценить его доброго нрава, терпения, снисходительности.



Поэтому я и сидел в темноте, хмуро глядя в окно на клубящееся грязно-жёлтое рваное небо, тускло озарённое городскими огнями, на чёрные верхушки тополей, размашисто качающиеся на ветру, на мокрый, маслянисто отблескивающий асфальт во дворе.

Ветер налетал неистовыми порывами, косые полосы дождя низвергались с небес на землю, водосточная труба под окном хрипела, кашляла, задушенно булькала, слитный шум ветра в растрепанных кронах и рушащихся из туч водопадов периодически заглушался гулкими ударами волн о скалы.

«Вот и все! — тоскливо подумал я. — Кончилось тёплое время. Пора отправляться домой».

Устав смотреть в ночную тьму, я разделся и лёг в холодную постель. Зябко было под тонким байковым одеялом, и заснул я нескоро.

Снилось мне, будто иду я по узкой улице совершенно не знакомого мне города. Красный кирпич стен, островерхие черепичные крыши, причудливая готика вывесок, старинные фонари — все здесь нерусское, чужое, непонятное. Как называется этот город, в какой стране находится он, — я не знаю. Улицы совершенно пусты, словно вымерли: ни человека, ни собаки, ни даже голубя, обычного обитателя городских улиц. Зияют настежь распахнутые окна и двери, мостовая устлана листами бумаги, и шалый ветер с шелестом гоняет их по отполированной до блеска брусчатке, надувает и треплет полосатые «маркизы» над окнами лавок, а за холодными стёклами жалко розовеют голые манекены.

Впечатление такое, будто все до единого жители города, покинув дома, в панике бежали, захватив с собою только самое необходимое.



Позже, через несколько дней после этого сновидения, я вспомню наконец, что видел этот город давным-давно в каком-то польском фильме — немецкий город, оставленный жителями в ужасе перед приближающимися советскими войсками.

Тихо, невероятно тихо вокруг. До того тихо, что слышно эхо моих осторожных шагов, шорох бумаги да жестяной стук капель воды, бьющихся о раковину где-то за открытым окном на втором этаже.

Мне почему-то страшно идти посередине улицы под внимательными взглядами этих пустых оконных глазниц, невольный холодок пробегает вдоль позвоночника. Мне кажется, будто чей-то глаз уставился в мою спину сквозь прорезь прицела, выискивая самое уязвимое место, и, может быть, указательный палец уже начинает мягко, но уверенно давить на холодную скобу податливого спускового крючка.

Скорее, скорее укрыться от этого ужаса в первом же подъезде! Постоять, дух перевести, унять дрожь в коленях, а потом одним рывком перебежать через распахнутую впереди ширь городской площади с мёртвым фонтаном в центре. Скорее выбраться из города в лес, где любое дерево, каждый куст укроют меня от этого сверлящего спину взгляда невидимого снайпера!

И в это мгновение вижу я впереди, у самого фонтана, тоненькую фигурку Дины. Длинные, цвета красного дерева волосы, белое платье, подол которого прижат ветром к ногам, та же легкая, летящая походка.

Мгновенно забыт мой страх, теперь я думаю только об одном: скорее догнать ее, остановить, признаться, что я люблю её и прошу стать моей женой. И, как это бывает во сне, я совершенно не



вспоминаю о Вадиме, ему в этом странном мире почему-то нет места.

Я ускоряю шаги, я окликаю Дину — всё напрасно: расстояние между нами не сокращается, и зова моего она не слышит.

И вдруг она легко, словно пушинка, отрывается от земли, взлетает вверх. Она поднимается всё выше и вот уже летит прочь, в сторону гор.

Ужас охватывает меня: еще минута — и я навеки потеряю ее. Невероятным усилием воли ярываюсь от мостовой и обнаруживаю, что лечу следом за нею мимо городской ратуши с квадратными часами на башне, мимо высокого серого креста крехи.

Город остался далеко внизу — будто вычерченные под линейку квадраты кварталов, черепичные крыши, извилистая лента реки, в которой на одно мгновение вспыхивает отражённый зеркалом воды белый слепящий диск солнца.

Я ускоряю полет. Дина уже близко. Я вижу её развевающиеся волосы, трепещущие от встречного ветра складки лёгкого платья.

И тут на нашем пути вырастает стена чёрного дыма. Ещё мгновение — и она поглотит Дину. Неизъяснимое словами волнение охватывает меня.

— Дина! — кричу я отчаянно. — Назад!

В ответ ни звука.

— Дина! Вернись! — ещё раз окликаю я её. Клубящаяся тьма поглощает Дину. Я тоже влетаю в этот едкий мрак, я чувствую его плотность. Мне только что казалось, что я вот-вот схвачу ее за руку, но в густых клубах дыма я потерял всякие ориентиры. Опять зову я её, но никто не отвечает мне, да и голос мой звучит глухо, почти совсем неслышно.



Вдруг синяя вспышка молнии ослепляет меня и грохот грома ударяет в барабанные перепонки. Какой-то мощный вихрь подхватывает меня и кружит в воздухе.

— Дина! — кричу я. — Где ты? Отзовись!

Меня начинает трясти, словно я еду в повозке по ухабистой дороге. От этой тряски я просыпаюсь. Оказывается, это мой сосед-толстяк трясёт меня за плечо.

— Чего орёшь? — раздраженно спрашивает он. — Нину какую-то зовешь. А может, Зину, кто тебя знает!

К окну липкой плёнкой приклеен безотрадный пасмурный рассвет. Я с трудом поднимаюсь с постели, хмурый, разбитый, так и не успевший отдохнуть за ночь. За окном, как и накануне вечером, беснуется дождь, деревья гнутся под напором ветра, а с моря по-прежнему доносятся пушечные удары волн.

Все это утро я испытывал необъяснимое томление, подобное тому, что испытывает человек с похмелья. Но ведь накануне я выпил совсем немного сухого болгарского вина и никакого опьянения, естественно, не почувствовал. Почему теперь я не мог ни минуты усидеть на месте? Меня так и подмывало вскочить и бежать куда глаза глядят.

В столовой, за завтраком, я сидел как на иголках. Есть мне совершенно не хотелось, болтовня соседей по столу раздражала меня, и я, даже не дождавшись чаю, вскочил со стула и поспешно вышел из столовой.

К девяти часам утра, когда я решил пойти к Вадиму, на улице творилось нечто невообразимое. Бешеными порывами налетал ветер, глухо и



злобно шумели мокрые деревья, дождь пронесся белыми полосами, и вскоре плащ мой намок и отяжелел, а с полей шляпы, стоило мне наклонить голову, лились жёлтые струи воды.

Я долго стучал в дверь комнаты Вадима, но никто не открыл мне. Тревога моя росла, и я, одним рывком вбежав на третий этаж, стал стучать к Дине.

Долго никто не открывал мне, и я, совершенно растерянный, хотел было уже уйти, как вдруг дверь приоткрылась, и я увидел распухшее от слёз лицо Галины.

Увидев меня, она бросилась ко мне, уткнулась лицом мне в грудь и разрыдалась громко и безутешно.

— Что случилось? — спросил я. Сердце мое билось часто-часто, теперь смутная тревога превратилась в уверенность: произошло что-то непоправимое и страшное.

— Что случилось, Галя? — повторил я свой вопрос.

— Дина умерла... Ночью... — с трудом выговорила она.

Я задохнулся. Губы мои как-то сразу онемели, я долго не мог произнести ни слова. Наконец мне удалось вздохнуть и дар речи вернулся ко мне.

— Почему? — спросил я. — Вчера ведь она была здорова...

— Не знаю, — всё так же рыдая, с трудом выговорила Галина, — говорят, будто от сердечно-лёгочной недостаточности, но я в этом не разбираюсь... Это всё буря виновата. Многим сегодня у нас плохо было...

Несколько минут мы молчали. Я никак не мог справиться с мыслями. Как это часто случается в



минуты большого душевного потрясения, я не мог оторвать взгляд от причудливого пятна на штукатурке и всё силился понять, на что похоже это пятно, и не мог.

— А как же Вадим? — вдруг осенило меня. — Где он? Галина разрыдалась еще сильнее.

— Он прямо не в себе... Сделался как ненормальный... Боюсь я за него.

— Да где же он? — рассердился я. — Мне нужно найти его. Немедленно!

— Был в беседке... Подождите, я с вами!

Но я уже бежал по коридору. Едва я выскочил из здания санатория, ветер сорвал с меня шляпу и швырнул ее куда-то за кусты сирени. Я не стал её искать: мне необходимо было как можно скорее найти Вадима, и я побежал к беседке напрямик через клумбу, по вязкой грязи.

В беседке Вадима не оказалось. Я выскочил на дорожку и далеко впереди увидел его белый плащ. Вадим шел по направлению к Чёрной скале.

Чтобы сократить путь и скорее догнать его, я бросился через густой кустарник, потом через березовую рощу, и вскоре опять увидел далеко впереди потемневший от дождя белый плащ своего друга. Вадим уже поднимался каменистой тропой на возвышенность, где, едва видимая за завесой дождя, темнела громада Чёрной скалы.

Сзади меня окликнул женский голос. Я обернулся: за мной бежала Галина в распахнутом пальто, надетом на пестрый домашний халат. Я махнул ей рукой, но задерживаться не стал: мне надо было скорее остановить Вадима.

Расстояние между нами заметно сократилось: всё-таки я был здоровей его и бежал быстрее, чем он. Несколько раз я громко окликнул его, но, видимо, ветер относил мой голос в сторону, так что



Вадим зова моего не услышал. Раза два он поскользнулся на мокрой тропинке, но удержался на ногах. Мне же, когда я стал вслед за ним карабкаться наверх, удержаться не удалось, и я основательно поцарапал левое колено.

Когда я наконец взобрался на каменную площадку, Вадим был уже у самого обрыва. Он стоял, словно прислушиваясь к рёву воды, доносившемуся из ущелья.

Я тяжело дышал, сердце моё готово было вырваться из груди, и ноги казались ватными от усталости, но я, собрав последние силы, бросился к Вадиму.

— Павел Николаевич! — услышал я сзади крик Галины. Я оглянулся: она уже была на площадке. Всего лишь на одно мгновение она отвлекла мое внимание, но, когда я опять взглянул туда, где стоял Вадим, сердце у меня оборвалось: там было пусто. Я не слышал ни крика, ни всплеска — друг мой исчез в бездне без единого звука.

Я подбежал к краю ущелья и, упав на колени, заглянул в пропасть. Там творилось нечто невообразимое. Река вздулась, вода в ней кипела, швыряла вверх клочья жёлтой пены, кружа в клокочущих водоворотах чёрные коряги, доски, щепки, кусты. Рёв, который я услышал еще издали, здесь был оглушающе громок.

Почему-то я ожидал увидеть, как это бывает в кино, хоть какое-то напоминание о только что случившейся трагедии: шляпу, или шарф, или хотя бы клочок одежды на колючем терновом кусте, выросшем над самой пропастью, но ничего подобного там не было, лишь бесновалась, редела, клокотала река, поглотившая моего друга. Мокрые волосы прилипли ко лбу, туфли мои полны были воды, брюки намокли до колен, всё тело моё



сотрясала крупная дрожь — то ли от холода, то ли от нервного потрясения. На коленях отполз я подалее от края пропасти. И в этот миг Галина с отчаянным криком подбежала ко мне и, упав рядом на колени, обняла меня и зарыдала.

— Он поскользнулся! Я видела! Он не хотел!

— Я знаю, — сказал я. — Там две полосы на грязи — следы от его башмаков. Он поскользнулся.

Яростный порыв ветра чуть не опрокинул нас. Белая стена дождя налетела на Чёрную скалу и разбилась о её непоколебимую громаду, обрушив на нас потоки воды, а мы с Галиной по-прежнему стояли на коленях, обняв друг друга в горе и отчаянии, и слёзы наши мешались с ледяными струями воды, стекавшими по щекам...

Без тебя

Он стоял у окна, оклеенного на зиму уже успешными пожелтеть полосками бумаги, и с высоты третьего этажа хмуро смотрел на заснеженный больничный двор и на жидкую рощицу за глухим кирпичный забором. Товарищи по палате мирно спали, радио молчало, и ничто не мешало ему думать о своём — о горестном, наболевшем — о том, что непрестанно тревожило и тяготило его в последнее время наяву и во сне.

Широкий двор занесён был снегом, но снег этот успел уже лишиться своей первозданной чистоты и белизны, он весь был истоптан подошвами и перетёрт, перемешан колёсами машин.

Бесформенным пятном низко стояло на западе подслеповатое солнце, чуть проглядывая сквозь прилипшую к небу серую пелену туч, и воспалённый свет его окрашивал снега от больничного



здания и до самого горизонта в болезненный грязновато-жёлтый цвет.

За сквозящей рощицей расстиралось пустынное поле, таявшее к горизонту в белёсой мутной дымке. Всё было мертво вокруг: нигде ни собаки, ни вороны, ни воробья. Пусто и безрадостно было в душе, и будущее представлялось таким же серым и безотрадным, как эта расстилавшаяся за двором плоская и печальная равнина, как это угрюмое, тусклое небо.

Вот уже почти две недели изо дня в день видел он за окном этот опостылевший безжизненный пейзаж, и ему невольно стало казаться уже, что теперь он до конца дней своих обречён смотреть на него сквозь пыльные, засиженные мухами стёкла из своей неуютной, тесной палаты. Вырванный болезнью из семейного круга, отторгнутый от друзей, лишённый книг и газет, он скучал и томился без общения, без чтения и работы, без того постоянного напряжения, которое раньше тяготило и раздражало его, а теперь стало вдруг казаться таким желанным и необходимым.

А совсем недавно, каких-нибудь две недели назад, на засыпанном снегом перроне прощался он с женой и маленьким сыном. С белого неба всё падал и падал густой снег, его тяжёлые хлопья летели отвесно, мягко ложась на землю, на плечи и шапки. Приглушенно звучали людские голоса и смех, сами же люди терялись в густом снегопаде, и лишь ближние фигуры едва рисовались смутно-серыми силуэтами.

С невыразимой грустью смотрел он на сына, словно прощаясь с ним навсегда. Мальчик был весь облеплен снегом, его большие и синие, как у матери, глаза вопросительно смотрели на отца, и на ресницах медленно таяли крупные белые



хлопья.

— Папа, а ты когда домой приедешь? — спросил малыш, — Завтра?

— Нет, Миша, не завтра, — ответил он и, взяв сына на руки, прижал его к себе. — Придётся вам с мамой пока одним пожить.

Мальчик прильнул к его лицу холодной щекой, и он с каким-то неистовым, почти болезненным чувством стал целовать эту щёку и эти большие глаза с мокрыми от тающего снега ресницами.

Жена стояла чуть поодаль, будто боялась переступить какую-то одной ей видимую черту и оказаться в недопустимой близости от него. Она была восхитительно красива в своей короткой белой шубке и в меховой шапке, слегка сдвинутой на правую бровь; нежные щёки её порозовели от холода, а васильковые, всегда по-русалочьи загадочные глаза смотрели бесстрастно, будто она провожала мужа не за тридевять земель, в краевую больницу, где ждала его нелёгкая операция, а куда-нибудь в необременительную однодневную экскурсию.

«Не любит она меня, — подумал он с горечью, ставшей привычной в последнее время, — нисколько не любит!».

Трещина в их отношениях появилась уже давно — почти полгода назад, с тех пор, как стал к ним захаживать её сотрудник, Борис Власов, начинающий полнеть мужчина лет тридцати, безудержно разговорчивый, напористый и ироничный. Когда он приходил, в квартире становилось тесно и шумно от его громоздкой фигуры, от громкого, уверенного голоса.

— Ну, что приуныли? — кричал он с порога. — Сейчас я вас расшевелю. А ну-ка, Лида, сообрази чего-нибудь закусить!



И ставил на стол бутылку марочного вина.

Лида сразу оживала, надевала самый нарядный свой халат, старательно подкрашивала губы приглаживала брови и, напевая, начинала хлопотать на кухне. В последнее время обычно хмурая и неразговорчивая, с приходом Бориса она становилась весёлой, преувеличенно смелой, даже развязной в своих высказываниях и поступках, так что мужу иногда даже неудобно за неё становилось.

Начались ссоры. Правда, случались они и раньше, но тогда в них не было такого взаимного озлобления, как сейчас, и кончались они обычно скорым примирением. Теперь же после каждой стычки она по два-три дня не хотела разговаривать с мужем.

В последние месяцы во время ссор Лида, и прежде не очень-то умевшая себя сдерживать, стала сразу отпускать поводья и, потеряв всякий контроль над собой, в припадке ярости могла сказать и сделать всё что угодно, нисколько не заботясь о последствиях.

В такие минуты её красивое лицо становилось чужим и непривлекательным, оно покрывалось красными пятнами, синие глаза её тускнели, будто со дна их поднималась густая муть, на шее и на лбу вздувались вены, и он с незнакомо брезгливым чувством смотрел тогда на неё и удивлялся сам себе: как он мог столько лет любить эту некрасивую и недобрую чужую женщину, способную до такой степени терять всякое самообладание?

Он тяжело страдал после каждого столкновения с Лидой, пробовал не отвечать на её нападки, но его молчание бесило её ещё больше, чем возражения, и тогда он понял, что в их отношениях уже ничего не исправить.



И всё-таки до последнего пытался он сохранить семью, потому что не мог представить себе жизни без Лиды и сына.

На протяжении многих месяцев ежеминутно жил он в предчувствии катастрофы, когда же она наконец произошла, понял, что так и не сумел к ней подготовиться.

В тот вечер Лида отмечала своё тридцатилетие. К одиннадцати часам ночи гости разошлись, но Борис, по своему обыкновению, задержался. Посидев немного у телевизора, он ушёл на кухню покурить, а вслед за ним ушла и Лида, сказав мужу:

— Ты посмотри пока телевизор, а я чай заварю.

Он посидел минут пять на диване, без всякого интереса глядя на экран и неторопливо потягивая лимонад, потом, вспомнив, что завтра нужно будет заплатить за электричество, со стаканом в руке пошёл в прихожую — посмотреть показание счётчика.

Случайно взгляд его упал на распахнутую кухонную дверь, и в большом стекле её он увидел отражение Лиды и Бориса. Они стояли обнявшись, лицо её было запрокинуто и губы их слились в поцелуе.

Он покачнулся как от удара, свет на миг померк в его глазах, стакан, выскользнув из враз ослабевших пальцев, со звоном разбился о паркет. Лида и Борис разом отпрянули друг от друга, и она тотчас же появилась в проёме двери, бледная и встревоженная, дрожащей рукой поправляя растрёпанные волосы.

— Вы, я вижу, даром времени не теряете, — хриплым, прерывающимся голосом сказал он.

— Да ты что? Ты что? — растерянно лепетала она, избегая смотреть ему в глаза. — Ты не подумай



чего-нибудь такого. Мы тут...

Он молчал, глядя на неё остановившимся взглядом.

Но Лида быстро овладела собой.

— Ты что себе вообразил? — привычно перешла она в наступление. — Ты что себе позволяешь?

Но дверь уже захлопнулась за ним с сухим щелчком замка, враз отрезав его и от истерически кричавшей что-то жены и растерянного молчания Бориса, и он очутился на лестничной площадке. Он силился додумать до конца какую-то очень важную для него мысль, но она всё никак не давалась ему, упрямо ускользала куда-то на окраину сознания, может быть, потому, что в груди, вытесняя все прежние ощущения, росла и ширилась ранее незнакомая острая боль.

Впоследствии ему рассказали, что, когда он вышел во двор, ему стало нехорошо, и сосед, игравший в домино со старичками пенсионерами у дверей подъезда, вызвал «скорую».

В больнице Лида плакала и клялась, что у неё с Борисом ничего не было и что впредь она никогда встречаться с ним не будет, но с того вечера в их отношениях появилась глубокая трещина.

И теперь на этом перроне смотрел он на её дорогое и одновременно такое чужое лицо за колеблющейся сеткой падающих снежинок и думал с сердечным ознобом:

«И всё-таки не любит она меня, несколько не любит!»

Поезд опаздывал, и это почему-то волновало и раздражало её; она непрерывно вздыхала, беспокойно озираясь по сторонам.

— Да что же это за безобразие! — не выдержала она наконец. — Зачем же тогда расписание?



— Не надо отправлять Мишу к твоей матери, попросил он жену. — Боюсь, опять заболеет.

Её губы тронула едва заметная улыбка, и в улыбке этой ему почудилась насмешка.

«Отвезёт, непременно отвезёт, с холодным отчаянием подумал он. — И ничто тогда не мешает ей принимать Бориса, когда вздумается. Я её хорошо знаю: если она чего захочет, никто её не остановит!»

Печальные мысли его прервал хриплый мужской голос, объявивший по радио о прибытии поезда, и в тот же миг где-то совсем близко пронзительно и коротко вскрикнул электровоз, и он, обернувшись в ту сторону, увидел, как в белой мути возникло, словно на опущенной в проявитель фотобумаге, неясное серое пятно; оно на глазах росло, темнело, сгущалось, и вот уже покатило мимо, раз за разом обдавая лицо холодным ветром и крутя снежные хлопья, вагоны — сперва быстро, потом всё медленнее, всё плавнее; колёса на стыках стучали всё реже, всё тише; поезд остановился, и пассажиры один за другим стали спускаться с вагонных площадок.

Несколько раз поцеловав сына, он поставил его на перрон и шагнул к жене.

— Не поминай лихом, сказал он. — Сына береги. И обо мне не забывай, пожалуйста.

Он поцеловал её в холодные губы, и они вяло шевельнулись в ответ на его поцелуй.

«Не любит она меня, — в который раз подумал он и задохнулся от тоски и безнадежности. — Знает ведь, что ждёт меня там, куда я еду, а так холодна».

И, как к последнему прибежищу своему, повернулся он к сыну и, присев перед ним на корточки, стал с каким-то отчаянным исступлением, лихора-



дочно-быстро покрывать поцелуями его холодные, пахнувшие свежим снегом щёки, мокрые ресницы, чувствуя, что из глаз против воли текут жгучие слёзы.

Электровоз свистнул, по всему составу из конца в конец прокатился грохот, вагоны медленно поплыли мимо. Отвернувшись, чтобы жена не увидела его слёз, он оторвался от Миши, схватил стоявший на снегу чемодан и вскочил на подножку.

Войдя в купе, он выглянул в окно, но ни жены, ни сына уже не увидел: густой снегопад поглотил их.

И уже у самого края перрона заметил он Бориса, решительно шагавшего в ту сторону, где остались Лида и Миша; в однообразном мельтешении снежинок промелькнула его жёлтая дублёнка, туго обтягивающая плотный торс, серая шапка из меха нутрии и синие джинсы, заправленные в короткие сапожки. Борис повернул голову в сторону поезда, скользнул по окнам вагона равнодушным взглядом и тотчас же отвернулся и исчез, словно растворился в белом безмолвии...

Он посмотрел на часы: время, когда больным положено спать, подходило к концу, но солнце, казалось, так и не сдвинулось с места, и в тусклом свете его по-прежнему металлически-холодно отсвечивали снега, покрывавшие широкую равнину. Хоть бы какой овраг нарушил её однообразие, или невысокий холм, или любое, самое непритязательное сооружение, чтобы было на чём задержаться взгляду! Ничего, лишь торчащие кое-где из-под снега стебли бурьяна, пепельно-серые деревца, неряшливые, как истёртые метлы, да грязноватая полоса снега за ними — вот и всё, что



можно было увидеть из окна палаты, и это безотрадное зрелище наполняло сердце чувством нестерпимой безысходности.

Он отвернулся от окна, но вид палаты тем более не мог смягчить этого тягостного чувства. Голые стены, выкрашенные масляной краской от пола до потолка, постели и лица спящих товарищей были землисто-жёлтыми от скудного света, проникавшего в палату сквозь полузадёрнутые лимонного цвета шторы.

В тоскливом томлении он лёг на кровать и закрыл глаза, но спать не хотелось, напротив — теперь, когда ничто больше не отвлекало его от горьких мыслей, они обступили его со всех сторон. Тогда он решительно встал и, пододвинув к тумбочке стул, сел у окна и стал перечитывать письмо, начатое им ещё утром.

«Милая моя Лида, здравствуй!

Двенадцать бесконечных дней — целую вечность — живу я здесь, если можно назвать жизнью то бесцветное существование, которое я теперь влачу, и заточению моему не видно конца.

Меня не оставляет ощущение, будто какая-то неведомая сила забросила меня на далёкую безжизненную планету и обрекла на вечное прозябание здесь. Единственное, что могло бы как-нибудь скрасить мою жизнь, смягчить угнетающую меня тоску, — это твоё доброе и ласковое слово, но ни на одно из моих писем, посланных тебе за всё это время, я так и не дождался ответа. Днём и ночью меня неотступно преследует одна и та же тревожная мысль: что могло случиться? Уж не больна ли ты? Здоров ли наш сын? Чем объяснить твоё столь затянувшееся молчание?

Я и раньше догадывался об этом, но только теперь понял совершенно отчётливо и ясно, что не



могу жить без тебя ни дня. Чтобы я ощущал, что живу, мне нужна ты, как нужен источник, из которого утоляют жажду, как нужен свет солнца. Если бы ты могла понять и представить себе, как трудно мне сейчас без твоей поддержки, без твоего участия!

Нелегко мне сознавать, что, хотя мы и живём с тобой под одной крышей, какая-то неведомая мне сила уносит тебя куда-то в сторону, к другим берегам, и я бессилён удержать тебя, потому что не слышишь моего зова и уже не принадлежишь мне».

На этом письмо обрывалось, и он, подумав немного, стал писать дальше:

«Конечно, я не ангел, и я наделал немало непростительных ошибок, но поверь: не по злomu умыслу, а от тоски и отчаяния я делал это, — потому что жить спокойно в этой обстановке я не мог. Я был во власти ревнивых подозрений, в моём положении вполне объяснимых. Разумеется, я понимал, что веду себя несдержанно, эгоистично, но хотел бы я посмотреть на человека, любящего, как я, горячо, даже отчаянно, который сумел бы остаться в такой обстановке спокойным и бесстрастным!»

Проснувшись товарищи по палате, включили радио, заговорили, стали громко смеяться, и письмо пришлось отложить.

— Ну что, Коля, может всё-таки перекинемся в картишки? — обратился один из них к нему.

Он отказался.

— Ну, ты у нас прямо монашек какой-то! Ладно, шут с тобой, пойдём в девятую палату, к чемпионам!

Они ушли, и он, всё это время, пока они собирались, в нетерпении ходивший взад и вперёд по



палате, опять сел за письмо.

«Я ревновал, да и сейчас ревную тебя к Борису. Когда я отказал ему от дома, спокойнее на душе у меня не стало, и не только потому, что я знаю его настойчивость. Дело не в нём, а в тебе. Если раньше, до моего разговора с ним, ты относилась ко мне просто безразлично, то теперь в каждом твоём слове, в каждом поступке появилась ничем не прикрытая враждебность, и это очень беспокоит и пугает меня, отравляет каждый миг моей жизни.

Мне кажется, ты не можешь упрекнуть меня в том, что я не искал общего языка с тобой, не старался понять твоих запросов и увлечений, не прощал тебе обид. Все эти трудные месяцы я любил тебя — любил вопреки всему, и сейчас люблю любовью тревожной и мучительной

Мне предстоит сложная операция. Врач мой не скрывает своих опасений. Он говорит, что, если бы можно было обойтись без неё, он не стал бы рисковать. Оперировать меня будут вскоре после новогодних праздников. Надеюсь, что всё будет хорошо. Страх я не испытываю (будь что будет!), но я чувствовал бы себя гораздо увереннее, если бы знал, что у меня есть крепкий тыл — моя семья, где меня любят и ждут.

Милая моя, прости меня за все мои прошлые ошибки и глупости. Они уже сделаны, и тут уж ничего не исправить. Впереди же меня ждут серьёзные испытания, и я очень хотел бы надеяться, что ты разделишь их со мной.

И ещё об одном прошу тебя: будь поласковей с Мишей. Не отправляй его к матери, не надо отлучать его от дома, от себя. Не ссорьтесь с ним и обо мне не забывают, пожалуйста. Помните, что дороже вас для меня нет никого на



свете.

Крепко целую вас обоих».

Запечатав конверт и написав адрес, он долго стоял у окна. Солнце — воспалённо-жёлтое око — уже коснулось края земли, и от деревьев потянулись длинные серые тени. Вороны летели над больничным двором с хриплыми криками — на запад, к далёкому лесу, сиреновой полоской темневшему на горизонте.

Дней через пять, поздно вечером, раздевшись и распустив свои длинные каштановые волосы, она стояла в спальне перед зеркалом и любовалась своей ладной фигурой, оглаживая ладонями круглые розовые груди, плоский, как у мальчишки, живот и стройные бёдра.

Борис сидел на кухне, крупный, внушительный, в синем тренировочном костюме, в комнатных туфлях её мужа, и курил, с отрешённой задумчивостью глядя на струящийся дым сигареты и стряхивая пепел в жестянку из-под сардин.

— А мой сегодня письмо прислал! — крикнула она ему, не отрывая глаз от своего отражения в большом зеркале. — Просит не отправлять Мишу к маме. А я его ещё в воскресенье отвезла. Когда мне им заниматься? Тут работы — хоть завались, а ему то сказку расскажи, то книжку почитай.

Борис молчал, лениво покачивая ногою.

— Пишет, что жить без меня не может. Ты не ревнуешь?

Он глубоко затянулся, не спеша выпустил дым и опять промолчал.

— А я всё никак не соберусь ему ответить. Из-за это чёртовой работы некогда вверх глянуть, не то



что письма писать.

Она повернулась к зеркалу боком, с довольной улыбкой разглядывая своё отражение.

— Ты не думай, пожалуйста, что он плохой человек. Он заботливый, ласковый. Нас с Мишей любит. А что я могу поделать, когда я больше не люблю его? Раньше, до того, как с тобою встрети-лась, любила, а теперь одного тебя люблю.

Она на минуту задумалась, нахмутив брови, но тут же улыбнулась и сказала повеселевшим голо-сом:

— А хочешь узнать, как он меня любит? Возьми письмо – оно там, на серванте.

— А ну его! — Сказал, вставая, Борис. — Вот уж чего не люблю, так это писем! То ли дело – теле-фон! Раз-два – и всё ясно! А письма – это такая тягомотина.

Он погасил окурок, раздавив его в консервной банке, и лениво шаркая по полу, пошёл к ней в спальню.



Блудный Сын

Блудный сын, одичавший без веры,
Что ж ты плачешь средь светлых
полей,
Где качаются скорбные вербы
Сиротливой отчизны твоей?!

Ты ведь сам выбирал себе долю:
Бросил родину, дом за холмом
И искал себе лучшей юдоли.
Что ж, безумный, жалеешь о том?!

В твоём хуторе ставни забиты
Через каждый плетень, это — быть.
Старики на погосте забыты.
Над дорогой развеялась пыль.

На ветру, на юру, на просторе
Что ж ты плачешь средь светлых
полей?
Неужель доняло тебя горе
Обнищавшей отчизны твоей?!

У поклонного креста

*Андрею Александровичу
Чурикову*

У обочины дороги,
У Поклонного креста,
Как у дома, на пороге,
Остановится верста.



**АНАТОЛИЙ
МАСЛОВ**

Поэзия





А в сиреновой ложбине
Мир знакомый и простой,
Будто в рамке на картине:
Хаты, небо, степь — покой!

В глубине кленовой рощи
Затерялся меж ветвей
(Песней горлышко полощет)
Одинокий соловей.

...Поклонись селу родному
У Поклонного креста:
Вечный мир и радость дому,
Неизбывна доброта!

И другой не надо доли:
Только б солнце надо мной,
Только бы плескалось поле
Сочной, спелой желтизной.

Весна уже...

*Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Б. Пастернак*

Весна уже...
И вдруг — метель!..
Как ветер завывает!
И дверь готов сорвать с петель,
И в щели завоевает.

Мятежный дух во мне воскрес!..
И с ветром, и с метелью
Иду бродить в степи окрест,
Где снег поземку стелет.



Мне здесь, на воле, каждый шаг
Как радость обновления!
Что ж неразумная душа
Замрёт опять в смятенье?!

Светло кругом!..
Во все концы
Засеребрились дали...
...Ах, слава Богу, что скворцы
С прилётом опоздали!..

Быть может, последняя осень моя...

Пожухлые травы поникли к земле,
Задумчива поздняя осень.
По кромке небес затухающий след
Заката сквозь серую просинь.

...И вот уже длится тягучая ночь
В безвременье зыбком, унылом.
А слабой душе как тоску превозмочь
О том, что прошло, но что было?!

Но буду лелеять тоску о былом,
О времени светлом и давнем,
И слушать, как ветер шумит за окном,
И стонут так жалобно ставни...

Быть может, последняя осень моя
Купается в сладостной неге?!
...Звезда покатилась, и свет бытия
Дрожит, растворяется в небе...



Косари

Отцу

Накошусь, заморюсь

Так —

не чую рук!

На косу обопрусь,

Погляжу вокруг.

Сыновья впереди

Косят —

не догнать!

Я скажу:

— Погоди...

Будем отдыхать!

А на взгорке погост,

Там приют отца...

Помню: брал на покос,

Поучал мальчика:

— Правым боком иди,

С разворотом взмах,

Над землёю вежи

Да не впопыхах.

Не ленись наострить

Терпужком косу —

Легче будет косить...

Да цени росу.

Я начну новый ряд,

Крикну сыновьям:

— Вот бы дед был бы рад

Внукам-косарям!



Везёт меня лошадка
Дорогой полевой
Не валко и не шатко,
Кивает головой.

Куда ведёт дорога?!
Мне, впрочем, всё равно!
Почувствовать немного
Здесь волюшки дано.

Как колыбель подвода —
Трясёт, скрипит, везёт...
В глаза мне с небосвода
Свет родины течёт...

Цветы обочь дороги
В пожухлом бурьяне,
Не броски и не строги,
Ласкают душу мне.

А если чёрный ворон
Вдруг крикнет в тишине,
То мыслей целый ворох
Он всколыхнёт во мне!

...Но налетевший ветер
Мне кудри растрепал,
Как будто бы приветил,
В степи опять пропал.

Вези, вели, лошадка,
Дуй, ветер, надо мной,
Мне так на воле сладко
В степи моей родной!



Степь плескалась бескрайно кругом,
Облака, словно пух, невесомы...
От развилки шагал я пешком
По дороге маршрутом знакомым.

Восходящего солнца лучи
Озаряли искристо округу,
С придорожных акаций грачи
Сорвались вдруг,
должно быть, с испугу.

Я не странником шёл по земле,
Шёл я сыном к родному порогу,
Оставляя подошв моих след
По следам, спрессовавшим дорогу.

За холмом мне открылось село,
Узкой балкой тянулось к востоку,
И душе моей было светло
Возвратиться обратно к истоку.

Памяти матери

...А за домом моим
 благодать, благодать:
Там просторное поле —
 краёв не видеть!

То-то с хлебушком будем —
 накормим страну,
А коль будет,
 то сдюжим любую войну.

...Навостри своё ухо
 за дальний бугор —



Не Мамай шёл оттуда,
а голодомор.

Словно лес, поднялись
над погостом кресты
Там, на краешке поля,
у первой версты...
Дед мой поле изрыл
всё и прямо, и вкось,
Чтоб пшенички найти
хоть бы малую горсть,

Чтобы выжила девочка,
мама моя...
А потом появился б
на свете и я...

Мама, мама,
как сердце рыдает моё:
Там, к могиле твоей,
подступает жнивье,

А за домом моим
благодать, благодать:
Зреет хлебное поле —
краёв не видать!

Светлоликое солнце
над полем встаёт,
И весёлую песню
пичуга поёт...

Надрывно ветер выл над головой

...Я, как чужой, пришёл на отчий двор
И тихо по двору ходил, как вор...



Вся жизнь мелькнула в памяти моей
В границах от забора до дверей.

Вокруг меня приметы бытия
Гнездовья родового, где рос я...

Но уж не встретит мама в доме том —
Глубоким сном почила под крестом...

И я сегодня здесь последний раз...
И слёзы потекли ручьём из глаз...

Отсечена с былым навеки связь,
Как пуповина вдруг оборвалась...

...Надрывно ветер выл над головой,
И душу разрывал мне этот вой...

Солнце в тумане,
 камыш по низине,
Тропки не видно
 совсем по равнине.

Вышел на взгорок,
 как будто светает:
Сизый туман
 растекается, тает.

Чудно как: справа
 охровая осень!..
Слева – весеннее
 небо меж просек!..



Запах учуял
звнящей полыни,
Сердце забилося,
душа моя стынет...

Холмики к хутору
в розовой дымке.
Вдруг выплывает
круг — невидимка,

По полю катится
огненным шаром...
Чёрная пашня
дымит белым паром...

Акация

1

Наверно, с ветром прилетело семя,
А может, человек по воле Божьей,
Воткнул росточек здесь,
на бездорожье,
И потекло за солнцем следом время;

И поднималось дерево степное,
Что казаки зовут казачьей пальмой,
Прохлада птицам в августовском зное,
Приют скитальцам
в их дороге дальней.

О чём она шепталась с юным ветром?
О чём мечтала под ночным покровом,
Когда луну в своих качала ветках?
О чём стонала в бурелом суровый?



...Какой вандал срубил её под корень?
Ужель ума настало оскудение?!
Душа моя была в таком смятении!
А на пеньке сидел и каркал ворон...

2

...Другой весной я оказался рядом.
Из-под коры корявой пухли почки,
Тянулись к солнцу тонкие росточки.
Спасибо, Боже, за такую радость!

Я поклонился нашей «пальме» дикой
(А мой платок от слёз бы надо выжать):
- Спасибо за пример такой великий,
За стойкость в жизни,
за стремление выжить!..

Бесконечные пыльные дали

Бесконечные пыльные дали!..
В серой дымке холмы и яры...
И сжимается сердце в печали,
И душа моя плачет навзрыд.

Боже мой, это родина, что ли,
Перед взором моим предстаёт:
Обожжённое хлебное поле
Жгучим солнцем в неласковый год?!

Может, мне бы умчаться по свету
К берегам заповедным каким,
А степному полынному ветру
Станет другом иной пилигрим?!

...Как тоскливо порой и постыло
Видеть скорбный, унылый пейзаж,
Но зовёшь это родиной милой,
И её никогда не предашь!



Годы предстоящие

В семьдесят с лишним лет
Манит седое небо,
И поднебесный свет
Пахнет кусочком хлеба.

В семьдесят с лишним лет
Солнце всего дороже.
Смотришь прохожим вслед...
— Кто же тебе поможет?

В семьдесят с лишним лет
Тоже смеяться можно.
И отогреет плед.
Я доживу... возможно...

В семьдесят с лишним лет
Не утихают раны.
Помнишь любви рассвет,
И не хватает мамы.

Вспомнить детство...

Только детство своё вспомню —
Сразу слёзы глаза слепят.
Вот опять пронеслись кони...
Казахстанской весны степи...

В моей памяти нет грусти.
В моей памяти нет боли.
...Карагач, а под ним кустик;
Тень и хлеб, и чуть-чуть соли...



**НАТАЛЬЯ
ОКЕНЧИЦ**

Поэзия





Помню: тёплый степной ветер,
Что повсюду спешит рядом.
Мама дома меня встретит –
Обогреет. Она рада...

Может быть – не срослось где-то,
И в дорогу не то взято.
Может – песня не та спета,
Только детство моё свято.

Ставропольская осень

Торжество духового оркестра...
Парк Победы. И вечер всерьёз.
Вспоминаю: «Я в белом... невеста,
На аллее зелёных берёз».

Я себя не забуду такую.
Ничего, что жених был не тот.
Ставропольская осень танцует.
Ставропольская осень поёт.

Среди пёстрой холодной одежды
Моё платье как пламя огня.
Я сегодня с оркестром надежды.
Кто-то за руку держит меня.

Всё простит, не обидит, не спросит,
Подберёт жёлтый листик у ног,
Уведёт в ставропольскую осень
И подарит весенний цветок.



Не бросайте...

Роняет старая рябина
Седые листья на село.
Живёт неслышно баба Зина
И любит Родину светло.

Она, сама того не зная,
Служила Родине своей,
Из года в год легко рожая
Красивых, крепких сыновей.

Она сама того не знает,
Зачем уехали они.
Одна осталась, коротая
В заботах солнечные дни.

Она сама того не знает,
Где силы и бывлая мощь.
Повсюду Родина родная,
А на столе соседский борщ...

Озеро счастья

Озера синь рябая...
Дно застилает илом...
А на прибрежных сваях
Доски – сплошным настилом...

Ляжешь на доски эти,
Бросишь рыбёшкам хлеба...
Рядом резвятся дети...
Кто же счастливым не был?



Нужно такую малость:
Бережно жить на свете,
Чтобы любовь осталась,
Чтобы погладил ветер.

Солнце роняет блики,
Детство зовёт упрямо.
Кажется, вдруг окликнет
И приголубит мама.

Рождение весны

У речки дышится привольно.
Весь лёд ломается весной...
Мне показалось, – речке больно,
И стон почудился лесной.

А почему, и что такое?
На ветках трескаются почки.
Всё удивительно живое:
Река, деревья и цветочки!

Стою с растерянным лицом.
И солидарно наблюдаю:
Весна рождается птенцом
И скорлупу свою ломает.



Ансамбль¹

Занавеска распахнулась, и на сцену вывалился седой взъерошенный старик в коротком клетчатом пиджаке, кремовых брюках и розовом платочке, франтовато повязанном на шее. Был он довольно высок ростом, осанист и смугл. Улыбаясь и пританцовывая, старик достиг середины сцены, вынул из брючного кармана початую бутыль, смачно отхлебнул, крикнул от удовольствия и, широко раскинув руки, запел на цыганский манер:

Как много женщин и вина,
Веселье, смех кругом...

За кулисами грянули гитары, ударили в бубны и вслед за стариком на сцену повалил целый цыганский табор: кудрявый цыган с гитарой и четыре хорошенькие цыганочки в цветастых нарядах. Они пели и кружились вокруг старика, а в глубине сцены, незаметно появившись из-за кулис, примостился лукавый толстячок с бакенбардами. Девицы казались вполне дружелюбными, пока все

¹ Журнальный вариант



ОЛЕГ
СОЛДАТОВ

Проза





разом не влюбились вдруг в старика. Не выдержав такого удара, старик, выпив яду, театрально умер на сцене и спектакль закончился.

Актеры собрались у большого стола в глубине зала.

— Спасибо, ласточки. Молодцы все, — похвалил старик, отряхивая колени. — Вам понравилось? — спросил он у единственного в зале зрителя.

— Да, — смущаясь, ответил голубоглазый юноша.

Во время спектакля он скромно сидел в дальнем углу сырого полуподвала, в котором размещался театр.

Театр! Есть что-то возвышенное и прекрасное в этом слове, слышится в нем горячий шепот влюбленных, вкрадчивый голос соблазна, шум сражения и гром небесный. Увы, складское помещение наименьшим образом подходило для создания атмосферы театрального волшебства. Подвал был обшарпанным — длинные, покрытые сатиновыми чехлами деревянные скамьи, громоздкая тумба посреди сцены, задником для которой служил большой отрез мешковины, прибитый торчащими наружу гвоздями к широкой доске, закрепленной под потолком; в углу скучало расстроенное, издававшее виды, пианино. Ветхие стены, завешанные портретами знаменитых писателей, хранили печать неблагоустроенности.

...Театр начинается с вешалки! Если так, то в подвале он заканчивался там же, возле двух рядов неглубоко вбитых гвоздей, тянущихся от входа до небольшого закутка, где стояло ведро, предназначенное... Впрочем, водопровода тоже не было.

— А что вы так далеко сели? — приветливо улыбаясь, спросил старик. — Идите сюда, к нам. Чайку попейте. Поговорим.

— Спасибо, — обрадовался юноша.



— Вы про нас как узнали? — поинтересовался старик. — Или пригласил кто?

— Нет. Я случайно зашел, — честно признался юноша, застенчиво поглядывая на разгоряченных игрою актрис.

— А, ну-ну, — одобрил старик, посмотрев на него внимательно, так, что юноше сделалось неловко, и он отвел глаза.

И действительно, он зашел случайно.

В сквере, возле моста, неподалеку от летнего кафе, его привлекла странная надпись. На проржавевшем металлическом щите, рядом с шашлычным и пивным меню, кривыми буквами было выведено слово «Театр». Ничего похожего на театр поблизости не оказалось, однако, пройдя чуть дальше, юноша увидел такую же надпись на шатком заборе — косо намалеванная стрелка указывала на низкую ржавую дверь, ведущую в подвал жилого дома. Рядом была пришпилена бумажная афиша, а под крохотным бетонным козырьком тускло мерцала электрическая лампочка.

Обойдя огромную лужу, которая каким-то чудом не высохла, несмотря на несносную жару, юноша потянул тяжелую дверь и вошел внутрь.

Ему сразу не понравился старик. В его облике было что-то неприятное и даже отталкивающее. Казалось, в глазах его не хватало чего-то необходимого — они были холодны и безжизненны, как у человека, потерявшего последнюю веру в человечество, знающего все обо всем и не надеющегося встретить в этом мире ничего нового и интересного.

Всего актеров было семь человек, трое мужчин, включая старика, и четыре девицы. Они тихо переговаривались, курили и пили чай.



— Простите, — вежливо спросил юноша, — а почему нет зрителей?

— Хе-хе. Почему, — невесело засмеялся старик. — Мы тоже хотели бы знать: почему?

— Но ведь можно пригласить знакомых.

— Так уж все знакомые этот спектакль видели, — старик обреченно махнул рукой. — Никто не придет.

— И не раз! — добавила игравшая злодейку томная красавица и улыбнулась юноше.

— Даже если придет всего один человек, мы будем играть так же, как для ста! — решительно заявил старик. — Для настоящего актера важна сцена, а не количество поклонников или поклонниц!

От этих слов актеры загрузили и взоры красавиц затуманились.

Тогда старик запустил руку под стол и выудил оттуда бутылку вина.

— Ну, по маленькой! Для отдохновения... Хочешь играть?

— Не знаю, — смутился юноша. — Может быть, потом.

Выпили. Старик схватил со стола какую-то толстенную книгу, быстро раскрыл ее и протянул юноше.

— На! Иди, читай вслух.

— На сцену?

— На сцену.

Юноша неуверенно взял книгу, покорно вышел на сцену и, волнуясь, прочел небольшой отрывок из какой-то пьесы.

— Теперь играй! — потребовал старик.

Юноша растерялся. Он недоуменно взглянул на старика, надеясь, что тот шутит, но старик был серьезен, а красавицы актрисы, внимательно и



оценивающе следили за ним.

— Я так не могу, — робко извинился юноша.

— Попробуй. Не бойся, — уговаривал старик. — Тебе понравится.

Что значит «играть» и как это делается, юноша не представлял. Оставалось либо отказаться, либо попробовать изобразить хоть что-нибудь в присутствии этих молодых красивых женщин, которые, признаться, сильно его волновали. Еще во время спектакля юноша влюбился в одну из них, в ее жгучие, слегка раскосые черные глаза, в которых кипела такая необузданная страсть, что каждый ее взгляд пронзал его, точно молния.

— Играй, что помнишь, — напутствовал старик, — своими словами! Начинай!

Бедный юноша попытался начать.

С первых же слов, он почувствовал, что его собственный голос вдруг сделался чужим, непривычно и странно зазвучав среди возникшей тишины; все вокруг отвлекало его; не зная, куда деть глаза, он, наконец, уставил их в пол; сердце бешено стучало, а тело охватила предательская, нервная дрожь.

Мучительно вспоминая текст, он разболтанно заходил по сцене, нелепо размахивая руками и декламируя то, что помнил из роли. Догадываясь, что со стороны, вероятно, выглядит чудовищно, и от этого еще сильнее смущаясь, юноша заспешил, скомкал концовку и, судорожно вздохнув, остановился.

— Ну, ладно, молодец, — похвалил старик. — Садись, отдыхай. Не все сразу.

Тем временем сбегали за второй.

— Хотим танцевать! — капризно заявили девицы и устремились на сцену.

После третьей плясали все, и даже старик, не желая отставать, пустился в пляс.



Актриса с колдовскими глазами подошла к юноше и, обвив руками его шею, увлекла за собой. Едва их лица приблизились, она прижалась к нему, охватив его губы пьянящим поцелуем.

— Твои глаза, как голубые брызги! — жарко прошептала она.

Все это видели, а старик, лихо отплясывая, завопил:

— Сейчас нас всех изнасилуют!

— Хорошо бы! — поддержала одна из девиц.

В голове юноши стоял сладкий туман. Все произошло так неожиданно и замечательно, что он не мог в это поверить. Едва вновь зазвучала музыка, он устремился к актрисе, но она коварно отвернулась от него и, повиснув на шее кудрявого гитариста, прильнула к его губам с той же неистовой страстью, с которой мгновение назад целовала отвергнутого теперь юношу.

«Вот это да!» — подумал юноша, застыв на месте.

— Не грусти. Она со всеми так, — услышал он над ухом чей-то участливый баритон, — со стариком тоже. Она у него живет.

На мгновение юноша утратил дар речи. Кто-то бережно взял его под руку и, отведя в сторону, усадил на лавку.

— Уж я-то знаю, — заверил его баритон, принадлежавший толстяку с бакенбардами. — Они тут все друг с другом перетрахались, а старик к тому ж еще и голубой.

Юноша недоверчиво покосился на толстяка, но глаза у того были пьяные и честные.

— Слушай, парень, — обнял его за плечи баритон, — ты мне чем-то симпатичен и поэтому я хочу дать тебе один совет. — Он сделал паузу и пожевал губами. — Беги отсюда, пока они тебя не сожрали!

— В каком смысле? — не понял юноша.



— В таком. Сам думай, в каком, — таинственно заключил баритон и погрузился в молчаливую задумчивость.

Безудержная пляска угасала. Близилась полночь; гасили свет, убирали со стола пустые рюмки и чашки, прятали недоеденную колбасу. Утомленные девицы разом закурили.

Юноша почувствовал страшную усталость; виски ныли, словно кто-то невидимый пытался просверлить их насквозь.

— Устал? — услышал он голос старика и, подняв голову, мучительно улыбнулся.

Старик весело глядел на него и, казалось, был очень доволен.

— Приходи завтра. Придешь?

— Не знаю, — замялся юноша, — может быть.

— Ну, гляди сам, — позволил старик. — У нас посещение свободное.

Юноша вышел за дверь, на ночном небе ярко горела луна; в сквере было тихо, лишь за деревьями шумел город.

Тем временем в подвале старик обнимал смеющуюся актрису.

— Что, Томочка, птенчик, думаешь, придет? — спросил он ее.

— Придет. Я чувствую, — ответила она и улыбнулась той зловещей улыбкой, какой улыбалась на сцене во время спектакля.

Но на следующий день юноша не пришел. Не пришел он и через неделю, и через месяц.

Иногда, по вечерам, он вспоминал свое приключение и поглядывал в сторону театра. Идти туда вновь ему не хотелось. Во-первых, из-за старика, а во-вторых, из-за той обидной истории с поцелуем.



Прошло полгода, прежде чем юноша вновь пришел в подвал и обнаружил там одиноко склонившегося над столом, печального старика.

— Здравствуйте, — сказал он, спускаясь по лестнице.

Старик чуть качнулся на высоком табурете и поднял седую голову.

— Здравствуй, дорогой. Хе-хе, — улыбнулся он. — Заходи, пожалуйста. Чайку хочешь?

— Спасибо. А где все? — спросил юноша.

— А кто его знает? — погрустнел старик. — Разбежались...

Юноша осторожно присел. Чашки на столе сверкали малахитовой плесенью.

— Понимаешь, нет? — встрепнулся старик. — Каждый думает, что без него студия погибнет и поэтому начинает вести себя соответствующим образом. Но это не так! Это глупость, произошедшая от недомыслия! — он полез в пиджак, вытащил из кармана пачку сигарет и, достав оттуда одну, бросил пачку на стол. — Им всем кажется, что они теряли здесь время, что все это нужно одному только мне! А ведь это я научил их всему, что они теперь знают и умеют: правильно ходить, говорить, думать и чувствовать! — он закурил, резко поднялся и нервно прошелся по залу. — Но они хотят только брать, хапать, а актер должен в первую очередь уметь отдавать, дарить людям то, что он накопил в своей душе, и если он этого не умеет или не хочет, то рано или поздно он бросает сцену!

Старик налил себе чаю и отхлебнул.

— Да что говорить. Твари. Самые хорошие вещи из гардероба утащили, — он успокоился и сел за стол. — Ну, да ладно. Дурачье. Обидно. Дело-то интересное.

Юноше стало жаль студию, жаль тот вечер с



танцами, вином и поцелуями. Он взял в руки гитару и, перебирая аккорды, решил, что пришел зря.

— Послушай, — оживился старик, и глаза его потеплели. — Так ты на гитаре играешь?

— Чуть-чуть играю.

— Вот хорошо-то! А я тут знаешь, хе-хе, стихи пишу. Может, их как-нибудь на музыку положить?

— Давайте попробуем, — пожал плечами юноша.

Старик раскрыл пухлую обшарпанную папку, достал исписанные листы, нервно кашлянул и протянул один листок юноше.

— На вот тебе, экземпляр.

Юноша взял несколько аккордов на гитаре.

— По-моему, хорошо, — заключил он. — И мелодия есть. Представьте нищего с шарманкой.

Он заиграл, поглядывая в бумажку и напевая слова.

— Класс! — восторженно выкрикнул старик. — Создадим ансамбль! Пойдем на телевидение! Прославимся!..

Выбрали день и пошли.

Случилось это в феврале, когда снег на Гоголевском бульваре лежал высокими темными сугробами.

В телецентре было многолюдно. Толчею усугубляла невероятная теснота помещения, в котором волновались, ожидая своей очереди, все желающие сниматься. Здесь были дети и взрослые, таинственные личности, целители и колдуны, бизнесмены и политики, собаки и кошки со своими хозяевами, бродячие поэты, певцы, танцоры, музыканты и бог еще ведает кто, словом, такое пестрое общество, какое может встретиться только



в цирке и более нигде.

— У вас что? — спросил их шустрый блондин, вынырнув неизвестно откуда.

— Здравствуйте, — широко улыбнулся старик.

— Ну, здравствуйте, — равнодушно ответил блондин и скрылся за дверью.

Его место заняла густо накрашенная девица, на лице которой косметика лежала такими плотными слоями, что соскоблить ее казалось столь же проблематично, как откопать Трою.

— Мы хотели вам песенку спеть, — объяснил старик. — Можно?

— Вы записывались? — строго спросила девица. — У нас только по записи.

— Нет. Вы понимаете, мы с концерта, и вот зашли, по дороге, — ласково соврал старик, поправляя бабочку.

— Ну, ладно, пойте, — холодно позволила девица.

Прождав два с лишним часа, томясь бездельем и волнуясь, старик и юноша попали в студию, где на них направили свет, прикрепили к одежде микрофоны и, наведя жерло телекамеры, разрешили петь.

Студия размещалась в небольшом вытянутом помещении с низким потолком и узкими стенами. В глубине, у дальней стены, стоял широкий кожаный диван. Ближе к съемочной площадке размещался оператор и усталыми, покрасневшими глазами безразлично взирал на происходящее вокруг. Слева от него, перед небольшим монитором, располагалась редакторша, а еще левее, окруженный нагромождением пультов и стоек, находился звукооператор — тот самый блондин, который первым встретился старику.

— У вас одна минута, — строго предупредила их девица-редактор. — Репетируем.



Старик и юноша переглянулись, юноша дрожащими пальцами дернул струны и, с трудом шевеля одеревеневшими губами, пропел первую строчку. Старик зычно подхватил со второй. Первый раз спели без ошибок.

— Лишних десять секунд, — недовольно нахмурилась девица.

— Да ладно, пускай, — неожиданно заступился блондин. — Ну, пусть поют.

— Ничего не «ладно»! — разозлилась девица. — Тебе все равно, а мне отвечать!

Но тут дверь распахнулась, и в студию стремительно влетел высокий брюнет в клетчатом пиджаке.

— Привет, — развязно поздоровался он со всеми. — Как дела?

Не дожидаясь ответа, он направился к накрашенной девице и, обняв ее за талию, увлек на диван. Девица не сопротивлялась.

— Ну что, пишем? — спросил блондин, повернувшись к дивану.

— Пиши, — сдалась девица, игриво забыв о принципах.

— Подождите! — молодец в клетчатом пиджаке вдруг вскинул голову, хитро прищурился и, поглядев на старика и юношу, заявил:

— Я тоже снимусь!

Вскочив с дивана, он принялся рыться в куче пыльного реквизита, сваленного в углу.

— О! То, что надо! — воскликнул он, выудив из груды тряпья белокурый женский парик.

Водрузив его на голову, он улегся на авансцене в ногах у старика и, подперев рукой голову, scomандовал:

— Давайте!

Молчаливый оператор ткнул пальцем в объектив.



— Зритель здесь. Когда поете, смотреть в камеру. И не разбегайтесь. Ближе друг к другу.

Старик заметно помрачнел.

— Скажите, — вежливо поинтересовался он, поглядывая то на девуцу, то на растянувшегося у его ног длинного молодца в женском парике, — а зачем здесь лежит этот молодой человек? Какой в этом может быть смысл?

Девуца удивленно вскинула брови и взглянула на старика так, словно обнаружила в нем какую-то новую, несвойственную людям деталь.

— Картинка хорошая, — коротко объяснила она.

— Ну, пусть лежит. Что он вам, мешает, что ли? — вступился миролюбивый блондин, имевший, видимо, природную склонность к компромиссам. — Все. Тишина. Пишем, — он плавно взмахнул рукой. — Начали.

На втором куплете перепутали слова и сбились. Третий раз спели, как надо.

— Снято, — устало объявила девушка. — Ваши фамилии.

Назвав фамилии, старик и юноша попрощались и вышли за дверь.

— Приходите еще, — отозвался блондин.

— Следующий! — громко крикнула девушка, не вставая со стула.

В подвал возвращались в хорошем настроении. По дороге купили коньяку.

— Мы обречены на успех! — воодушевленно кричал старик. — Соберем программу, запишемся и пустим в прокат! Да что говорить, я сам пойду на рынок кассетами торговать! — разошелся он. — А, что ты думаешь? Силы уж не те, чтоб вкалывать.

Спустились в подвал; достали рюмки, разложили закуску и, налив сразу по полной, выпили стоя.



— За успешный дебют! — торжественно объявил старик.

Выпили по две рюмки, закусили нарезанным тонкими ломтиками и посыпанным сверху сахаром лимончиком, поддели вилочками маринованных грибочков с чесноком и луком, на свежий, пышущий сдобой хлеб намазали паштета и, расположившись поудобнее, закурили.

Струился сизый дымок, на сковороде шипел в масле картофель, а в небольшой электрической печке пеклась свежая рыба.

Неожиданно дверь распахнулась и, впуская городской шум и морозный воздух, в подвал спустилась Томочка.

— Здравствуй, солнышко! — поднялся навстречу ей старик, раскрывая объятия.

Они расцеловались.

— Пьете? — спросила она улыбаясь. — Я тоже хочу! Наливайте! — и, скинув шубу, подошла к столу.

Ее желание незамедлительно исполнили.

Старик рассказал о том, как прошла запись; Томочка и юноша весело смеялись; незаметно бутылка опустела.

От выпитого коньяка голова юноши кружилась.

— Вы прекрасны! — сказал он актрисе, преданно и влюблено глядя на нее.

Этой же ночью со стариком приключилась скверная история.

Он долго ворочался на кровати, терзаясь предчувствием, что непременно этой ночью студию должны ограбить и, надругавшись над портретами великих писателей, оставить следы вандализма и бескультурия. Он еще раз мысленно проверил замки и все же, не выдержав, вскочил с постели и принялся торопливо одеваться. Мысль о том, что



его детище, его второй дом может подвергнуться осквернению и грабежу, приводила его в ужас.

Старик всегда опасался воров. В этом не было бы ничего странного, если бы его переживания не носили болезненный характер. Проявлялось это в том, что все комнаты в его квартире запирались на ключ. Бронированная входная дверь была снабжена могучим стальным засовом, а снаружи запиралась на пару огромных висячих замков. По соображениям чисто практическим, каждый раз, уходя из дома, он тщательно прятал все ценные вещи в самые недоступные для человеческого представления места, а деньги хранил, конечно же, в вентиляционной трубе.

Невзирая на поздний час и стужу, он устремился через весь город на помощь своему старому другу-подвалу. Минуя пустынные ночные улицы, старик вскоре достиг цели, и еще издали сумел разглядеть, что дверь подвала была распахнута настежь. Подойдя ближе, он увидел, что все три замка варварским способом сорваны и валяются на снегу.

— Ограбили, — с горечью подумал старик, осторожно заходя внутрь и спускаясь по лестнице. В глубине подвала звучали чьи-то голоса. Старик приткнулся к стене и прислушался.

— Он совсем выжил из ума, — говорил ехидный женский голос. — У него маразм.

— Старый дуралей. Ха-ха. Песенки поет, — ядовито смеялся второй, тоже женский и до боли знакомый ему голосок.

Старик не верил своим ушам. Без сомнения, это были голоса его любимых учениц.

— Вот стервы, — подумал он, стараясь не дышать и решив слушать до конца.

— Скорее, не поет, а ревет, словно глухой медведь, — насмешливо проговорил еще один голос, в



котором старик узнал бы голос юноши, не имея он интонаций махрового уголовника.

Старик крадучись спустился по лестнице и заглянул внутрь.

Самые худшие его опасения сбылись. В студии царил адский беспорядок. Все было перевернуто вверх дном. Среди обломков мебели, подобно воронью на пепелище, восседали две его лучшие ученицы, неизвестно зачем вырядившиеся в широкие черные плащи, карнавальные маски и остроконечные колпаки, наподобие тех, что носили древние звездочеты, а юноша, коротко стриженный и в кепке, грубо поругиваясь, с дымящейся папиросой в зубах, остервенело рвал костюмы из театрального гардероба.

— А хочешь, мы к тебе сейчас приставать начнем? — лукаво взглянув на юношу, спросила одна из девиц.

— Конечно, хочу! — нагло ответил притворщик-юноша, от которого старик ничего подобного не ожидал.

И тут началось такое, чему нет оправдания и о чем старик мог судить только по доносившимся до него стонам и аханьям.

От ужаса дыхание его перехватило, тупо кольнуло в сердце и, хватая ртом воздух, словно рыба, выброшенная на сушу, он сполз по стене, и повалился на грязный заплесанный пол.

— Помогите, — простонал он и увидел над собой зловещие силуэты своих учеников.

— Пададь, — презрительно сказала одна из учениц и больно пнула его ногой в бок.

— Сдохни, гад, — вторила ей другая.

— Девочки, за что? — прохрипел старик, непонимающе глядя на них сквозь пелену обморочного тумана.

— Ах, ты еще спрашиваешь? — криво улыбаясь,



спросил подскочивший юноша и, метя в лицо, с размаху ударил кирзовым сапогом.

— А-а, — заплакал старик, пытаясь увернуться.

Удары посыпались градом. Били молча и долго. Станным было то, что никаких видимых увечий старик не получал, но с каждым новым ударом в душе его росла нестерпимая горечь, обида и разочарование.

— Убейте же меня, — жалобно захныкал он, — убейте. — И... проснулся.

Ничего не понимая, бледный, на трясущихся ногах, старик с трудом добрался до ванны и отвернул кран. Его стошнило.

Сунув голову под ледяную струю, он почувствовал себя лучше и, взглянув в зеркало, увидел свое бледное с зеленоватым отливом лицо.

— Живой, — убедился он и принялся вытирать голову полотенцем.

На следующий день старик и юноша встретились вновь. Каким-то неизъяснимым образом они сошлись и, сверх того, если им приходилось расставаться более, чем на неделю, то каждый из них ностальгически скучал. Старик называл это комплиментарными отношениями. Так прошло два года. Тридцать песен были сочинены, костюмированы и записаны на телевидении, несмотря ни на что.

После второй песни под названием «Перестройка» телевизионщики насторожились. В песне говорилось о лапше, которой забиты все чуланы, балконы и старые холодильники. Начиналась она словами:

Как только объявили перестройку,
Мы поняли: опять идет застой...

А заканчивалась так:

От мира старого следа уж не осталось,
А я все ем застойную лапшу.

Далее последовала песня бомжей, облаченные в лохмотья старик и юноша так натурально походили на одичавших обитателей чердаков и подвалов, что их не сразу признали и не хотели пускать в телестудию. «Бомжи» клялись исправно подавать декларацию о доходах и пели:

Пуская на нас с помойки панталоны,
Лишь бы налоги взяли с нас вожди.

Реакцией на очередное водочное подорожание стала песня алкашей о том, что лосьон может снова стать лакомством, зато запах для жен будет значительно приятней.

Изобилие колдунов и волшебников, заполонивших экраны и газеты, родило песню магов, сулящих все, что угодно: от возрождения России до вербовки всех из ФБР.

Песня ковбоев отговаривала бежать в Америку, упирая на то, что и здесь теперь хватает бомжей, публичных домов и казино...

Зачем бежать в Америку, приятель?
Теперь Америка в России, здесь, у нас!..

На старика и юношу стали коситься враждебно, каждый раз ожидая новых гадостей.

Наконец, Томочка, в ужасе от занятий своего немолодого супруга, молилась о том, чтобы ее сослуживцы не узнали о его творческих шалостях. И хоть сама она была актрисой того же театра,



теперь это вызывало в ней ужас и содрогание.

Да что говорить! Все пророчили ансамблю скорую гибель и забвение. Бесперспективность и обреченность дела были очевидны всем.

В это время в Москве существовал «Клуб городского романса», организованный известным детским писателем и располагавшийся недалеко, всего в пятнадцати минутах ходьбы от подвала.

В клубе было многолюдно. Зал на пятьсот мест заполнился на треть. На сцене у рояля восседал плотно сбитый человек с птичьим лицом. Исполнители — в основном это были женщины постбальзаковского возраста — по очереди выходили на сцену и, не попадая в тон, пели зычно и, что называется, от души. Строгий человек с птичьим лицом, решительно ударяя по клавишам рояля, аккомпанировал всем. Самого писателя в зале не было.

Когда старик и юноша вышли на сцену и надели сомбреро, зрители оживились, лица расплылись в улыбки. Песня произвела фурор. В завершение старик выхватил игрушечный пистолет и пальнул над головой. Сцену покидали под аплодисменты.

Ровно через неделю, когда старик и юноша репетировали новую песню, в дверь подвала неожиданно постучали и человек с птичьим лицом возник на пороге.

— Здравствуйте... Бахметьев, — отрекомендовался он, снимая головной убор, и нетвердой поступью спустился по лестнице. — Не ждали?

— Заходите! Милости просим, — расцвел старик и бросился навстречу гостю. — Надо же! Какими судьбами?

Казалось, пришелец был доволен приемом, он широко улыбнулся, пожал плечами, мол, всякое бывает, затем оглядел помещение, вынул из



пакета наполовину опустошенную бутылъ джин-тоника и заговорщически сообщил:

— Я не один.

— Пожалуйста, пожалуйста! — замахал руками старик. — Мы всегда вам рады!

Пришелец поставил бутылъ на стол, проследовал вверх по лестнице и, откинув тяжелую занавеску, впустил внутрь полноватую женщину лет сорока.

— Это Катя, — представил он женщину и икнул.

— Очень приятно, — улыбался старик. — Заходите, прошу вас.

— Да мы уж зашли, — засмеялся пришелец и, пройдя к столу, отвернул крышку бутылки. — У нас праздник!

— Да неужели? — обрадовался старик. — А какой?

— Сперва давай по чуть-чуть, потом скажу, — по-свойски заявил Бахметьев и, проливая мимо, разлил джин-тоник по чашкам.

Катю усадили за стол, отчего она немедленно пожелала сигарету.

— У Эдварда Платоныча юбилей, — сообщил наконец пришелец, отхлебнув из чашки. — Надо поздравить старика.

— Сочините песню. Я вас выпущу, — пообещала Катя, ласково глядя на Бахметьева. — Что-нибудь связанное с героями его книг. Веселое.

— Да! — поддержал ее Бахметьев. — Это будет шутка. Сюрприз! Он ни о чем не должен подозревать! Представляете? Идет концерт, все расписано и вдруг вы с черного хода в костюмах!

— Может, из-за кулисы пустить? — слабо возразила Катя, заранее, впрочем, соглашаясь со всем, что предлагал энергичный Бахметьев.

Тот понимающе улыбнулся, не спеша вынул из



внутреннего кармана пачку сигарет, подцепил оттуда одну, прикурил от зажигалки и, с шумом выпустив сквозь губы тонкую струйку дыма, покачал головой.

— Там их не спрятать. Все будут знать. И никакого сюрприза. Наливай!

Уговорились встретиться через две недели, слушать готовую песню.

— Я все думаю. Зачем они к нам зашли? — шурился старик после ухода гостей. — Что за этим крылось? — он многое повидал и был опытен в житейских делах. — Они были уже «хорошие», значит, зашли случайно, им было по дороге. Шли, шли и зашли. А зачем, как ты думаешь?

Юноша пожал плечами.

— А-а, — улыбнулся старик. — Вот что мне кажется! Им нужны были деньги на такси! Я только сейчас это понял! Ну, не вести же ему даму в метро в таком подпитии! Вот он и зашел.

Песню все равно сочинили, но на этом дело закончилось. Больше никто не заходил и не проявлял интереса к юбилейному заказу.

Между тем творческий союз давал новые плоды. Оказалось, что редакция завалена письмами и телеграммами с просьбами повторить, сообщать заранее и показывать чаще все это безобразие. Публика жаждала песен. Какая-то неизвестная по численности аудитория, видимо, состоящая из страдающих бессонницей или ведущих ночной образ жизни людей, активно выражала свое одобрение этой необычной буффонады.

В качестве приза зрительских симпатий старику и юноше прямо в эфире выдали по футболке с эмблемой телепередачи, по кружке, значку и по большим настенным часам.



Ликованию не было предела!

Придя вечером домой, старик повесил часы на стену, надел футболку, прицепил значок, врубил кассету с песнями и, время от времени подливая в кружку купленный по дороге портвейн, стал дожидаться Томочку. Наконец, шелкнул замок, и с лицом, говорившим: «Как я устала!», на пороге показалась Томочка.

— Здравствуй, птенчик! — по обыкновению обрадовался старик, поворачиваясь так, чтобы эмблема была видна и, как бы невзначай бросив взгляд на часы, отхлебнул из кружки. — Чтой-то ты поздно сегодня.

Никак не отреагировав, лишь скользнув глазами по квартире, Томочка принялась снимать ботинки.

— Зачем это вы в майке сидите? — Она называла его на «вы» из-за разницы в возрасте. — И не холодно вам?

— Что ты, птенчик! — весело улыбнулся старик. — Ты посмотри, какая это майка! Да в ней можно на снегу спать! Она душу греет.

— Где это вы взяли? — равнодушно взглянув на эмблему, спросила Томочка.

Старик этого ждал.

— Нам дали приз! — гордо отрапортовал он. — Еще кружку и часы! Все снимали на камеру. Скоро покажут.

— И часы?

— Да. Вот они висят. Красивые, правда?

Старик понимал, что играет с огнем, но ему очень хотелось доказать ей, что он был прав, начав петь песни, раз по всей стране увидят, как его награждают, и не просто лишь бы чем, а «призом зрительских симпатий».

Томочка быстро нашлась и спросила с укориз-



ной:

— Что ж вы? Призы дали на двоих, а вы все себе забрали... И часы...

Тут старик, гордо выпрямил спину, высокомерно вскинул бровь и с оскорбленным видом проронил одно-единственное слово, которое окончательно решило исход словесной баталии:

— Каждому!

Надо признать, что талант у старика был, поэтому слово прозвучало как приговор из уст императора.

Далее разговаривать было не о чем.

Томочка выпила портвейну и, наконец, улыбнулась.

— Поздравляю, — сказала она, ставя стакан на стол. — А что у нас на ужин?

— Птенчик, бери, там все горячее: котлетки, картошка, а хочешь, кашки возьми...

— Ой, я так устала, — пожаловалась Томочка. — Сегодня три пары в академии и на работе жуть. У меня просто нет сил. Когда же это закончится? И зачем я только пошла учиться? Налейте-ка мне еще портвейну...

В эту ночь старик спал, как младенец. Что ему снилось? Неизвестно.

На следующей неделе, когда старик и юноша сидели в студии и по обыкновению пили зеленый чай, старик, помолчав немного и пожевав губами, словно прикидывая что-то в уме, наклонился к юноше и, озираясь, сказал полупшепотом:

— Завтра мы идем к Варваре.

Это ровным счетом ничего не означало для юноши, поэтому он никак не отреагировал на это судьбоносное заявление.

— Мы идем к Варваре! — повторил старик,



вскидывая брови.

— Ну, хорошо, хорошо. Пойдемте, — улыбнулся юноша, выражая готовность идти куда угодно немедленно.

— Нет. Ты не понимаешь! — воскликнул старик. — Знаешь ли ты, кто такая Варвара?!.. Варвара — это ураган, тайфун, стихийное бедствие! Это торнадо и Везувий вместе взятые! Это катастрофа века! Она способна погубить все живое в пределах досягаемости! Пламя огонь вырывается из ее уст, испепеляя любого, кто попадает ей на глаза, а зубы впиваются в тело несчастного задолго до соприкосновения с ним. Невидимые лучи просвечивают его душу, не оставляя ничего тайного! — Седые кудряшки взвивались на голове старика. — Ну?! Что ты теперь на это скажешь?

Юноша никогда ранее не слышал о таких смертельно опасных существах.

— Боже мой! — испугался он. — Зачем же мы к нему, то есть к ней идем?

— Зачем?! — иступленно переспросил старик. Взор его вдруг сделался печален и он ответил совсем тихо: — Она наш директор...

— А зачем нам директор?

— Черт его знает, — пожал плечами старик. — А впрочем, она нам зарплату будет платить... Небольшую правда, но в наше время и это пригодится. Я вот и подумал: чего деньгам-то пропадать? Будешь гардеробщиком?

— Буду. А это сколько?

— Ну, рублей двести или сто пятьдесят, я не помню. Это мы уточним. Ты сейчас где работаешь?

— Я? Сейчас? Нигде...

— Ну, вот! Какая тебе разница, где нигде не работать? Будешь числиться гардеробщиком. Согласен?

— Пожалуй.



— А не захочешь, иль найдешь там чего, в смысле работы, уволишься и все. Какие проблемы? — Старик был доволен. — Завтра она ждет нас у себя. Возьми паспорт, диплом, ну там, все, что надо для оформления.

Завтра наступило незамедлительно.

Проникнув в старинный трехэтажный особняк на Пречистенке, они первым делом встретили при входе милиционера.

— Вы к кому, граждане? — приветливо поинтересовался он.

— Мы к Варваре Семеновне, — улыбнулся старик.

Милиционер кивнул:

— Проходите.

Они поднялись по роскошной мраморной лестнице, рассматривая свои отражения в огромном зеркале, на месте которого, в царское еще время, помещался портрет государя императора. Затем прошли по длинному, устланному красной ковровой дорожкой коридору в другое крыло дворца, вверх, теперь уже по узкой кривой лестнице еще на один этаж, где оказался столь же шикарный коридор, пересекли все здание вновь и оказались перед высокой старинной дверью с номером шестнадцать на пластмассовой табличке.

— Пришли, — сказал старик, снимая шляпу и утирая платком влажный лоснящийся лоб, — заходи.

Дверь распахнулась, и юноша шагнул внутрь. Первое, что он увидел через еще одну раскрытую дверь в глубине кабинета, была худая светловолосая женщина, вопросительно поднявшая на него колючие выцветшие глазки.

— Вы к кому? — спросила она низким надтреснутым голосом.



— Здравствуйте, Варенька! — взмахнув над головой шляпой, из-за спины юноши закричал старик. — Это мы. Как приказывали!

— Тише, вы, не шумите, — нахмурилась женщина, — идите сюда.

— Варенька, боже мой, позвольте ручку поцеловать, — старик припал к протянутой руке и, поцеловав ее, расплылся в блаженной улыбке. — Вы просто прелесть.

Это была вольность, но все сошло гладко; старик был актером старой школы и знал, что такое вежливость и этикет. Варварин взгляд потеплел, на ее лице проступила улыбка, и она засмеялась, гыкая и по-бульдोजьи выпячивая нижнюю челюсть.

— Ангел мой, наконец-то. Привели мальчика? — спросила она, поглядывая на юношу. — Хорошенький... ангелочек прямо...

— Очень хороший, — подтвердил старик, — да еще и страсть какой талантливый! Таких сейчас не сыщешь. Всем только деньги подавай!

— Сколько лет мальчику-то? Давай-ка сюда документы и пиши заявление, — велела она юноше, пододвигая листок бумаги и ручку.

После того как заявление было написано, а документы самым тщательнейшим образом изучены и проверены, Варвара вздохнула.

— Ну, что, ангелы мои? Как будем жить дальше?

— Как прикажете, Варенька, — широко улыбаясь, отпартовал старик.

— Нет. Я серьезно вас спрашиваю, а вам бы все шуточки шутить. Все витаете где-то... Пишите мне план мероприятий на следующий год.

— Позвольте листик, — старик вынул из внутреннего кармана ручку.

— Нищета, — насмешливо проговорила Варвара и вынула из пачки пару листов великолепной



бумаги. — Нате.

Старик углубился в работу.

Варвара Семеновна была человеком нервным и впечатлительным, но весьма и весьма осторожным. Как представитель старой бюрократии, она унаследовала все ее черты, а в духе нового времени приобрела тягу к переменам. Она мечтала разбогатеть и обеспечить безоблачную жизнь себе и троим уже ставшим взрослыми отпрыскам, кои после коварного бегства неблагодарных супругов пребывали целиком на ее попечении.

— Представляете? Не знаю, что мне делать, — вдруг шепотом заявила Варвара, поглядывая в коридор. — Дверь прикрой, — кивнула она юноше. — Ппустила на свою голову. А у меня чутье. Вы понимаете? Я всем телом недоброе чую.

— Что случилось, Варенька? — старик наклонился к ней и тоже заговорил шепотом.

— Пришли ко мне и говорят: «Мы «Дети Софии». Нам бы помещение, где можно с детишками позаниматься». Понимаете, да? С детишками! Ну, думаю, пушай, ха-ха, пушай занимаются. Ппустила... Смотрю. А к ним какие-то американцы ходят, машины с продуктами, с игрушками и прочее. Боже мой, думаю, где берут? Кто такие?! Это ж подсудное дело! А я знаю: у них своих-то детей нет. Они ездят по детским домам и выпрашивают им детишек дать на вечер. Показывают их американцам, а те им денег дают и все такое... Ну, думаю: попала! Их посадят и меня вместе с ними. Чего делать, не знаю.

— Да-а... — протянул старик. — Тут надо очень осторожно.

— Видал, как прокололась? Ну, ничего, я ремонт там начну и их вышибу. А то представляете: они сами уж ремонт там затеяли. Я полагаю так, что они хотят там подмазать, подкрасить, а потом



скажут: как же, ремонт! Мы сделали! Теперь наше помещение! Ох, зря пустила.

— Вот же как добрые дела бывает опасно делать, — посетовал старик.

— Да, — согласилась Варвара. — Поверила. Пустила по доброте, а теперь не выкуришь. Начнут писать, еще американцам нажалуются. Такое будет!

— А что вы волнуетесь, Варенька? Скажете: у меня ремонт. Не будут же они там вместе с рабочими, в дыму торчать? Им деваться некуда. А вы как бы и ни при чем, — успокаивал старик.

— Ну ладно, бог с ними, — Варвара хищно прищурилась. — Вот что, орлы. Придумайте-ка что-нибудь такое, чтобы всем нам стало хорошо!

Первым нашелся старик:

— Что тут думать, Варенька? Надо ехать на море, отдыхать. Песочек... водичка...

В его измученном жизненной безысходностью воображении проплывали силуэты плывущих вдали кораблей, обнаженных загорелых красоток и кружек холодного бочкового пива с плотной шапкой легкой белой пены. Невзирая на то, что на дворе трещал морозами февраль, ему хотелось жары и солнца, свежего морского воздуха и горячих песчаных пляжей.

— Ну, не заходите в экстазе-то, — отрезала Варвара. — Попроще нельзя?

Старик заволновался.

— Варенька, я вам еще раз повторяю: лучше хора ничего не придумаешь! Нужен хор. Это ничем не перешибешь.

— Какой хор? Вы что?

— Детский, конечно, Варенька. Какой же еще! Мальчики, девочки, пусть поют, пляшут...

— М-да... А еще?



— Ну, еще! Начните только. Там придумаем, — старик по-дирижерски взмахнул руками. — Главное начать.

— Думайте, думайте, — машинально отвечала Варвара, увлекшись чтением какой-то бумаги. — Нельзя ли вот только как-нибудь побыстрее, что ли, а?

— Варенька! — защищался старик. — Позвольте принять к сведению. Впрочем, не хотите хор, давайте выпустим фотоальбом. У меня давно идея есть: «Храмы нашего города».

— Не надо города! — встрепелась Варвара. — Не надо нам города, — добавила она тише. — Зачем нам город? Хватит с вас и района. Нашего славного района! А всем остальным — вот! — она сложила костлявые пальцы в маленький кукиш.

— Варенька, как скажете. Были бы деньги, чтоб хоть затраты окупить.

Все это время юноша сидел и слушал. «Это ж надо, как распинается, — думал он, следя за стариком. — Видно, эта Варвара действительно крупная птица. И кто она на самом деле, это еще неизвестно, но очевидно, что человек она непростой».

— Ой, — вдруг спохватился старик, взглянув на часы, — мне нужно бежать, а то мастерская закроется. У меня там заказ. Отпустите, а? — взмолился он.

— Ну, ладно, идите... Что с вами сделаешь. — Варваре нравилось повелевать. — А сигаретка у вас есть?

— Есть, конечно, пожалуйста, — старик достал из кармана зеленую пачку. — Вот, с ментолом.

— Небось, гадость какая-то? — брезгливо покосилась Варвара. — Ладно уж, давайте, — и, прикурив от стариковской зажигалки, добавила: — Нет, чтоб чем-нибудь хорошим угостить любимого начальника... Э-эх! Как были дворником, так и



остались.

— Что вы, Варенька? — опешил старик. — За что такая немилость? Почему же это я — дворник?

— Как же? — выпуская клубы дыма, ухмыльнулась Варвара. — Сидите там, в подвале, без воды и туалета. Ну, и кто вы, спрашивается? — она содрогнулась всем телом. — Бомж!

— А у нас, вы знаете, даже песня есть про бомжей, — старик не подавал виду, что обиделся, — и там слова такие есть: «... но краше наших нет у них бомжей!»

Он засмеялся.

— Да ладно, шучу я, — миролюбиво сообщила Варвара.

Старик поднялся, поцеловал на прощание Варварину руку и вышел с улыбкой на лице. Юноша остался один на один с Варварой.

— Кофе хочешь? — включая электрический чайник, спросила Варвара.

— Судовольствием, — вежливо ответил юноша.

— Судовольствием? — переспросила Варвара. — Это хорошо. А с коньяком?

Юноша покраснел.

— С коньяком вдвойне приятней, — Варвара подмигнула. — Уж поверь моему богатому опыту. Ты человек молодой и многих вещей не понимаешь. У тебя еще все впереди. Сходи-ка лучше чашки помой. Там в конце коридора, слева дверь. Сходишь?

— Да, конечно, — юноша решил действовать, как старик.

Когда он вернулся, чайник уже кипел.

— Ой, ты знаешь, — Варвара виновато улыбнулась, — там воды совсем мало оказалось. Нам не хватит. Сходи-ка еще разочек.

Вернувшись с полным чайником, юноша полу-



чил задание сбегать в ближайший магазин за сигаретами, исполнил это безропотно и получил в награду чашку кофе с коньяком.

Варвара прищурилась.

— Всем людям, которые ко мне приходили, чего-нибудь было от меня нужно. У меня чутье, понимаешь? Организм мне подсказывает. Ты вот, чего хочешь?

«Она шутит, — решил юноша. — Не с коньяку ведь ее так развезло?»

— А что вы можете? — спросил он, думая придать разговору шуточный оборот.

— Я? — победоносно усмехнулась Варвара. — Все!

Дело было серьезное.

«Либо старушка не в себе, — размышлял юноша, — либо она тайно управляет государством». Словно подтверждая это его предположение, Варвара проговорила:

— Ты мне скажешь, чего хочешь, и я буду работать в этом направлении. У меня есть доступ в самые высокие кабинеты. Ну?

— Варвара Семеновна, — испугался юноша, — я хочу, чтоб вы были живы, здоровы и чтоб все у вас было хорошо.

— Да? — не поверила Варвара. — Это все? Ты учти: если не скажешь, я ничего делать не буду.

— Что это за пытка? — взмолился он. — Нет у меня других желаний и быть не может.

— Точно?

— Точно.

— Давай свой телефон. Где тебя искать. Вызывать буду редко, но регулярно.

Юноша продиктовал номер.

— Я знаю, чего ты хочешь, — Варвара прищурилась. — Плохо, что ты сам мне этого не сказал. —



Она закурила. — Ты хочешь иметь свой театр!

— Это само собой, — одобрил юноша, — но это не главное.

— А что для тебя главное?

Юноша уже мечтал прекратить этот ненужный разговор.

— Главное? Свобода, творчество, счастье...

— Ну, правильно, — подтвердила Варвара, — но для счастья человеку ведь что-то нужно. Я не говорю о вещах, а вообще...

— Для счастья человеку ничего не нужно, — поспешил юноша сгоряча.

— А-а. Понятно. Что ж, все-таки я думаю, что тебе чего-то надо, но ты мне не сказал. А зря! — Варвара еще раз прочла заявление и положила его в стол. — Завтра принесешь страховое свидетельство, и будешь работать, а сейчас свободен.

Юноша попрощался и вышел из кабинета.

«Суровая тетя», — подумал он, оказавшись на улице. «Что это ей от меня надо было?» И тут он вспомнил рассуждения старика о том, что в мире что-либо происходит только лишь после того, как кто-то с кем-то... «Вот оно что! Неужели старая гримза хотела... Боже мой! А старик, значит, решил меня к ней... “Мальчика” привел... Ловко!..»

Девочки приходили в студию чаще мальчиков. Правда, был один мальчуган лет одиннадцати, звали его Колей. Жил он неподалеку от подвала, приходил несколько раз, но вскоре пропал. Приходили еще две резвые девчушки. Их приводили мамы. Такие же живые и веселые, как и они сами. Обеим девочкам было лет по двенадцать. Одна была маленькая, черненькая, как зверек, очень подвижная, с умными глазками, широкой улыбкой и белыми зубками. Ее даже звали не-



обычно: Камила. Другая покрупнее, выше ростом и вся-вся рыжая. Ресницы, волосы, конопушки, все!

Обе они очень хотели играть. Черненькая много фантазировала и иногда очень мило кривлялась, словно маленькая обезьянка, при этом удивительно чувствуя меру. Рыжая, наоборот, с каменным лицом, стоя неподвижно, могла отколоть такой фортель, что невозможно было удержаться от смеха. Одним словом, попади они в заботливые руки, из них мог бы выйти толк.

Когда в студию приходил кто-нибудь новенький да ко всему и талантливый, старик хищно набрасывался на него, заставляя прыгать и скакать, петь, кривляться и танцевать, доводя до изнеможения и отчаяния. Когда же юный человек с потухшим надолго взором покидал студию, старик важно и гневно объявлял о его непригодности и лени. История эта повторялась раз за разом, менялись лишь участники.

На это время юноша переставал ходить в студию, давая старику насладиться новыми игрушками. Часто новоявленным студийцам хватало всего лишь одного занятия, чтобы грезы о сцене исчезли у них навсегда, но порой процесс затягивался на неопределенный срок. Чем старше становился старик, тем такие случаи случались реже...

Однажды пришла одна девица, представившись правнучкой знаменитейшей актрисы, имя которой гремело когда-то на весь мир. Девица была нескладная, в джинсах и кофте, немного нервная и с нездоровым румянцем на щеках, при этом почему-то не могла спокойно стоять на сцене, а читала из прохода между скамейками и очень тихим придушенным голосом. Начитавшись и нашептавшись, она исчезла навсегда, как и многие до нее.



Юноша не ошибся и на этот раз. Придя через месяц, он застал двух девочек на последнем издыхании. Глаза их потухли. Словно тени двигались они по сцене, и было видно, что силы их на исходе и не далек тот час, когда желание и интерес к студии зачахнут совсем.

Репетировали, как и в первый день, ту же басню: «Лягушка и Вол», но, Боже мой! Куда все делось? Где та живость и огонь в глазах, где желание играть и веселиться? Где эти искорки, эта свежесть и радостные улыбки? Нету. Ничего этого не осталось...

— Что ты кривляешься?! — кричал старик на чернушку. — Перестань! На сцене не кривляются! Кривляться будешь в другом месте. Давай реплику!

Надо сказать, что превратить басню в маленькую пьесу, это все равно что заново ее написать, при этом можно придумывать все что угодно, как угодно и в каком угодно виде. Придумывал, конечно, старик. И многое из того, что он придумывал, детям не нравилось. И это было видно.

— Пошла вторая лягушка! — кричал старик.

Из-за кулисы появилась рыжая. Усталость и безразличие читались на ее лице.

— Перестань сейчас же! Что ты там нашла? — заорал на притихшую чернушку старик. Та начала ковырять старенького плюшевого зверька яично-желтого цвета, похожего на медведя. — На нее, на нее смотри! Она ж для тебя говорит!

Зверек был отложен в сторону.

— Перестань кривляться, тебе говорят! Я тебя выгоню сейчас! Куда пошла?! Подожди, дай ей договорить и на нее смотри... — командовал старик. — Вторая лягушка, умерла? Ладно, хорошо. Отдыхаем. Перерыв пять минут.

Это был последний день, когда чернушка и



рыженькая приходили в студию. Позже старик, вспоминая о них, сказал:

— Да, ездить им очень далеко. Их же возить надо. А там и папы против. В общем, позвонили они, сказали, не будут ходить.

«Уж конечно, — подумал юноша. — Сколько ж можно издеваться? Жалко деток, не то совсем им нужно. Зачахли бы они здесь совсем».

— Они меня все спрашивали: когда играть будем да где? — вспоминал старик. — А чего играть? Научиться надо сперва! Потом уж играть... Вон, четко же подсчитано, чтобы стать актером надо минимум девять лет. А они хотят сразу! Взял и полетел! Так же не бывает.

«Бывает», — не согласился юноша, но спорить не стал.

Варвара объявилась внезапно. Она, как и вся ее жизнь, состояла из сплошных сюрпризов и авралов, любое давно ожидаемое событие всегда застигало ее врасплох, бумаги терялись, пропадали ключи и документы, исчезали мужья, дети и семейные драгоценности, затем находились и пропадали вновь. В этом коловращении она жила, вертелась, крутилась, и не мыслила, да и не могла помыслить о другой жизни.

Рано утром юношу разбудил телефонный звонок.

— Алле? — с оттяжкой, баском раздалось из трубки. — Спим?!

— Нет, что вы! — юноша чуть приподнялся. — Бодрствуем! В любое время дня и ночи ждем руководящих указаний! Здравствуйте, Варвара Семеновна! Как поживаете?

— Хорошо. Работать будем? — зловеще прозвучало в ответ.

— А как же! Обязательно.



— К одиннадцати ко мне.

— Есть!

— Если меня не будет, подождешь.

— Служу госклубу «Юность»!

— Молодец. Давай, служи...

«Настигла», — думал юноша, торопливо одеваясь.

Варвара появилась в начале второго.

Заметив ее в конце коридора, юноша вскочил со стула и счастливо улыбнулся.

— Ждешь? — зыркнула на него Варвара. — Ну-ну. Молодец. Пошли, — она распахнула дверь кабинета. — Заходи. Садись за стол. Бери бумагу, пиши. Ручка есть?

— Есть, — приготовился юноша.

— Подожди. Сейчас. Вот, — Варвара вынула из массивной папки несколько листков. — На тебе образцы. Пиши письма в типографию, в Мосэнерго, в милицию и в озвучку... У нас праздник, понял? Пиши. Я сейчас... — и вдруг сорвавшись с места, как ракета унеслась в коридор.

«Что за ерунда? — подивился юноша. — Праздник какой-то...»

Прошло полчаса.

— Написал? — Варвара влетела в кабинет. — Дай, — она внимательно изучила бумажки. — Так. Придумай быстро название праздника и напиши мне сценарный план. Образцы там найдешь, — она указала на папку. — Я сейчас вернусь. Давай. Действуй.

«Сценарный план? Что за сценарный план? Минуточку! А какой, собственно, праздник?» — спохватился юноша.

Варвара появилась вновь через час.

— Ну, как? Придумал?

Юноша заерзал на стуле.



— Варвара Семеновна, позвольте поинтересоваться, что за праздник?

— Ну, ты чего? Ты чего?! — Варвара зазвучала на повышенных тонах. — Во работнички! Ни хрена не делают! Ни хрена не знают! Невменяемые одни вокруг! Все в кайфе! Пушкину двести лет! Все гуляют. Ты что? Месяц остался. Не успеем — тебе капец.

— Мне? За что?

— Ни за что, а просто так. Пиши, давай, профессор! — Варвара схватила со стола какие-то бумажки и опять унеслась в коридор.

«Ах, вот оно что! Пушкину двести лет, — подумал юноша. — Надо будет песню написать».

Он открыл «образцы» — это был стандартный сценарий праздника, проводимого каким-то культурным центром:

«Начало праздника в 16:00» — прочел юноша.

«На сцене ставится Жар-птица, которая во время действия наклоняется вперед и расправляется».

«Около сцены устанавливается живая голова...»

«Представление “Балда” (играют актеры)».

— Ага...

«В 17:00 — появляется А.С. Пушкин».

— Что — сам?.. Очень хорошо! Просто замечательно... Ну что ж, будем писать.

Через пятнадцать минут сценарный план праздника под названием «У Лукоморья» был готов, а еще через час в кабинете возникла Варвара.

— Фу... Все на мне. Никто работать не хочет. Бардак, — она закурила. — Ну что, профессор, написал?

— Написал, — гордо отрапортовал юноша и



протянул несколько исписанных листков. — Вот.

— Ну-ка, дай, — Варвара придирчиво заглянула в бумажки. — Так... Название не пойдет. Хорошо, что другие придумали, — сообщила Варвара, довольно улыбаясь.

— Это кто же?

— Есть умные люди. Не тебе чета!

— Да уж что поделаешь, — посетовал юноша.

«Не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морскою, и чтоб сама Золотая рыбка была у меня на посылках, — вспомнил юноша. — Вот она и есть — владычица, как она говорит, хренова!»

— Вот, учись! Не цените меня, не уважаете... А здесь, — она постучала пальцем по лбу, — ума столько, что на всех хватит. Так куда в отпуск собираешься?

— В Туапсе.

— А чего ты в Турцию не хочешь поехать? Вот смотри: триста долларов с человека на две недели. Пятизвездочный отель, шведский стол, сервис, все тебя вокруг любят, улыбаются тебе, а ты проходишь мимо и плюешь на всех. Представляешь? — она мечтательно закатила глаза. — Езжай в Анталию. У меня дочь там отдыхала в прошлом году.

«Она на полставки в турбюро работает, что ли? — дивился юноша. — Чего пристала ко мне? Куда хочу, туда и еду. Какое ее собачье дело?»

Варвара вдруг вскочила, схватила какие-то бумаги и умчалась в коридор.

— Жди меня здесь. Я сейчас приду.

«Жди ее здесь, — думал юноша спустя полчаса. — И так целый день только и делаешь, что ждешь ее. Сидит, небось, с кем-нибудь курит или болтает. Чем ей еще заниматься? Нет, чтоб отпустить человека».

Прошло еще минут сорок, прежде чем Варвара



влетела в кабинет.

— Знаешь что, — приказала она. — На тебе ключи. Сходи открой этим «Детям Софии».

— Так они еще там? В смысле, еще ходят? Вы ж хотели их вытурить.

— Еще ходят, — вздохнула Варвара. — Ну, ничего. Недолго им осталось. Через месяц ремонт начинаю. Ты им открой, посиди с ними и закрой. Они до девяти просили их пустить.

— До девяти?! Да что они, с ума сошли? Варвара Семеновна...

— Что поделаешь... надо. А у вас репетиция сегодня?

— Ну да...

— Ну! Открой им, посмотри, чтоб посторонних не было и иди на репетицию. Да еще скажи, пусть журнал заведут и пишут, чем занимались и сколько детей было. И пусть всех перечислят по фамилиям. Приду, проверю. А вечером зайдешь, закроешь их. Понял?

— Понял, — юноша нехотя взял ключи.

— Вечером позвони мне и доложи. Ладно? Кто приходил, зачем? Мало ли что. Ты как бы разведчик будешь. Хорошо?

— Конечно, Варвара Семеновна. Джеймс Бонд выходит на тропу! Все будет сделано. Не извольте беспокоиться.

После общения с Варварой духота, городская пыль и автомобильный чад казались проявлениями мировой гармонии.

Наконец, день праздника наступил!

Он намечался возле одного из московских монастырей, на берегу живописного городского пруда. Место это тихое и спокойное, навевающее



приятные воспоминания, умиротворение и легкую приятную дрему: на холме белеют могучие крепостные стены с красными прожилками, за ними видны блестящие купола церквей, слышен бой колоколов; по аллеям медленно прогуливаются новоиспеченные мамы с разноцветными колясками; белые лебеди рассекают темную воду; утренние рыбаки, не подозревая о надвигающемся бедламе, изредка забрасывают удочки и замирают в ожидании. Спросишь: «Клюет?» — «Клюет!» — ответит и с гордостью покажет мешочек с двумя маленькими блестящими рыбешками. «Отпустил бы. А то, глядишь, завтра ловить будет нечего». — «Может, и отпущу, а может, кошке...»

Там уже была готова сцена и именно туда должны были вскоре явиться приглашенные артисты и карнавально разодетый для гуляния праздничный народ.

Когда старик и юноша прибыли на место, шел одиннадцатый час. Солнце начинало припекать. Июнь выдался жаркий, над Москвой стелилось тяжкое марево, и даже близость воды не спасала от зноя.

— Давай пивка по бутылочке возьмем, что ль? — предложил старик, все более приходя в чувство, но еще заметно страдаая. — Чтоб пить не так хотелось.

Взяли по пиву. Старик повеселел.

— Ну, теперь хоть чуть-чуть силы появились какие-то. А то — тяжело.

Со сцены гремела музыка. Народу еще не было, как и артистов. Провода от громкоговорителей тянулись к автобусу с радиоаппаратурой. Концерт должен был начаться в 12:00.

— А-а! — откуда-то выскочила Варвара. — Явился! Где был?! Почему опоздал?!

— Варенька, — раскрыл объятия старик, — да ради вас и не на такое преступление пойдешь!



«Ловко, — восхитился юноша. — Красиво и непонятно!»

— Вы что! Пушкину двести лет, а вы где-то ходите! Ладно! — согласилась Варвара. Она была тоже немного подшофе... — Пошли транспарант вешать, — махнула она рукой и помчалась, как танк, через газон к деревянной хозяйственной постройке, стоящей в тени деревьев.

— В тенечек! — обрадовался старик. — Ура! Вперед!

— Вы фотоаппарат взяли? — на ходу спросила Варвара.

— Взял, вот, могу показать, — старик полез в сумку. — Пленку новую зарядил.

— Сейчас тогда снимаете меня, ладно? Когда людей побольше будет. Тут где-нибудь, на фоне гуляний. Чтоб было видно, что я среди народу.

— А зачем вам народ, Варенька? Нужен вам этот народ? Давайте сейчас прямо и снимем, — предложил старик.

— Нет, вы не понимаете, — затрясла головой Варвара. — Он не понимает! — посмотрела она на юношу. — Меня для выборов надо! Ясно? В депутаты я избираюсь...

— Варенька! — восторженно зашипел старик. — Боже мой! Наконец-то! Давно пора! А позвольте поинтересоваться, в депутаты чего? Городской думы? Или еще куда?

— Нет. Пока в районные.

Прямо на траве было разложено огромное полотнище: «200 лет А.С. Пушкину» и ниже такими же метровыми буквами: «Москва».

— Берем! — указала на него Варвара. — Несем к забору и привязываем между деревьями. Там веревочки есть специальные. Привяжете и подходите вон туда — на поляну сказок. Я там буду.

Проклятый транспарант сносило порывами



ветра и цепляло за ветви и сучья деревьев.

— Рано мы пришли, — сетовал старик. — Сейчас привяжем и надо спрятаться куда-нибудь. Так, чтоб мы ее видели, а она нас нет.

Привязали и уселись в тенечке на лавочку.

Первым из артистов явился пышноволосый, весь разукрашенный, в кожаных сапогах и длинном, как у Бэтмена, плаще, молодец лет тридцати с небольшим. Возле него увивался какой-то рыжий с неприятными ужимками, похожий на официанта.

— Дорогой, — поведя кистью руки, просил Бэтмен, — салфетку, — и рыжий, сладко улыбаясь, протягивал салфетку. — Дорогой, дай мне тушь, — и рыжий протягивал тушь.

— У-у, как у них все серьезно, — заметил старик.

Тут подскочила Варвара.

— Ну? Чего сидим? Пошли, там шар запускают. Снимите-ка меня на шаре!

— Варенька! Да с превеликим удовольствием, — живо вскочил старик. — Где скажете. Хоть на Луне!

— Нет. На Луне не надо, — отмахнулась Варвара. — Гхы-гхы-гхы... Хватит шутить-то. Серьезным делом занимаетесь. А все тоже — шуточки.

Народ, увидев из окон домов купол воздушного шара, фиакры, запряженные лошадьми, детские аттракционы и сцену с надутой неподалеку «говорящей» головой, потянулся на улицу. Возле воздушного шара уже собралась толпа. Катали всех по очереди, бесплатно.

— Эй! Фью! — крикнула Варвара гондольерам. — Хозяйку покатайте с фотографом!

Корзину опустили.

— Как же я в нее залезу-то? Вон, борта какие! У меня ж юбка узкая. Что ж делать? Эй, методист! — подозвала она юношу. — Ну-ка подсади начальницу-то.



Так как гондола не переставая качалась, поместить туда Варвару оказалось делом непростым. Варвара задирала ноги, судорожно цеплялась руками за плетеные борта, шла пятнами и пыхтела. Наконец втроем: юноше, старику и гондольеру удалось перевалить ее через борт корзины. Варвара взмыла к облакам.

«Вознеслась», — подумал юноша.

— Не надо выше! — закричала Варвара, едва шар поднялся метров на десять. — Я боюсь! Вы что? Сума сошли?

— Уй, Варенька, а знаете, как здорово получится на фоне города! — кричал старик, наводя объектив. — Блеск!

— Вы что? Угробить меня хотите? Не надо, я сказала! Опускайте!

С неменьшим трудом ее выволокли из корзины, и она нетвердой походкой направилась прочь от этого страшного места.

— Совсем охренела на старости лет! Летать вздумала, — удивлялась она. — Была б трезвая — ни за что б не полезла, — шепнула она старику. — Пьяного пуля боится, пьяного штык не берет! Гхы-гхы-гхы... Ясно?! — зыркнула она на юношу.

— Варвара Семеновна, — восторженно улыбнулся тот. — Вы наш ангел, фея! Вам и шар не нужен, чтоб летать! У вас же крылья!

— Крылья? Гхы-гхы... Но-но. Ты не очень-то... Смотри мне... Давай, работай! Охренели все от жары!

На фаэтонах, запряженных лошадьми, уже повсюду катали ребятню.

— Варенька! Давайте вас на лошади снимем! — воскликнул старик. — Это будет лучший кадр!

— На лошади? Хм...

— Верхов!

— Верхов? Как же я на нее залезу? — Варвара



замерла в нерешительности. — Животное все-таки коварное...

— А очень просто, — нашелся старик. — На тележку станете и залезете. Зато представьте: вы на коне! И вокруг вас народ! А?! Кто ж вас не выберет после этого?! Все выберут!

— Хм... Ну, давайте, — согласилась Варвара. — С вами скоро на Останкинскую башню полезешь...

Лошадь, к неудовольствию толпящихся в очереди детей и родителей, выпрягли из повозки и подвели к готовой запрыгнуть на ее широкую спину Варваре.

— Безобразие, — заворчала очередь. — Дети ждут, а она кататься вздумала.

— Да ну, подождите, — утешал их старик. — Это ж хозяйка. Она все для вас организовала. Дело-то минутное!

Но очередь вела себя неблагодарно.

«Эгоисты, — подумал юноша. — Да и она тоже хороша».

Варвара цвела от счастья алыми пятнами.

— Улыбочку! — попросил старик, широко и призывно улыбаясь.

Варвара оскалилась.

— Гхы-гхы-гхы...

— Класс! — крикнул старик. — Еще разочек! Вещь! На обложку журнала! Для истории! Пусть попробуют не выбрать с таким фото! Сто процентов успеха! Готово!

— Спустите меня!.. Методист! — крикнула Варвара. — Помогите спуститься начальнику! — Юноша поддержал Варвару за талию. — Фух... намучилась — силов нет. Ну? — обратилась она к старику. — Где еще?

— Да где скажете, Варенька! Давайте с артистом каким...



— Нет, — подумав, отрезала Варвара. — С артистом не хочу. Я буду невыгодно смотреться. Да и они странные какие-то...

— Ну и не надо, — согласился старик. — Тогда с ребяташками хорошо бы... среди детворы... Ух — как действует! Детишек все любят. Не зря же все вожди детишек на руки поднимают и целуют взапас. Что Сталин, что Гитлер... Проверенный трюк!

— Ну вы чего говорите-то, — обиделась Варвара. — Так, на минуточку, подумайте... Какой Сталин? Вы что?

— Как какой? — еще шире заулыбался старик. — Всеми любимый вождь и отец народов! Представляете: если вас будут любить, как Сталина — вас не то что в депутаты, в президенты выберут сразу!

— Ну, вы скажете, гхы-гхы-гхы... в президенты... гхы-гхы...

— А что вы думаете? — разошелся старик. — Элементарно!

Подошли к аттракционам, согнали в кучу ребяташек и сняли.

— Орлы! — вдруг встрепенулась Варвара. — А вы сами-то выступать будете?

— А как же! — пошел вразнос старик. — Обязательно будем. Будем же? — посмотрел он на юношу.

— Запросто, — согласился юноша, уже начиная страдать от жары.

Со старика пот лил градом.

— Ну, тогда я пойду договорюсь, чтоб вас на главную сцену выпустили, — пообещала Варвара и умчалась в другую часть парка, откуда неслась музыка и слышался голос ведущей.

— Во! — утирая лоб носовым платком, пропыхтел старик. — Щас выступим! Черкесскую песню споем им. Пусть знают! А то и не читали, небось...



Хорошо, что я догадался с собой трубку и папахи взять. Дай, думаю, возьму на всякий случай. Мало ли что... А они не тяжелые... это ж бумага — свернул и все — места не занимают...

Не так давно юноша, листая томик Пушкина, наткнулся в «Кавказском пленнике» на черкесскую песню: «В реке бежит гремучий вал, в горах безмолвие ночное, пам-пам», — прозвучало в его голове. «Ого, — удивился он, — ну-ка, ну-ка, кажется, может получиться». И действительно вышла песня. Суровая, с громовыми раскатами, шумом стремнины и характерными горскими интонациями. Конечно, пошли записываться на телевидение. Старик склеил из бумаги две папахи, разрисовал их кудряшками, намалевал гримом густые усы себе и юноше, набил трубку, закурил ее прямо перед камерой и пел тягуче и заунывно. В таком виде песня вышла в эфир.

— Вы выступаете через двадцать минут, — примчалась Варвара. — Готовы?

— Всегда! — решительно заявил старик. — Пошли, — кивнул он юноше.

— Ну, вы идите, а у меня еще дел полно, — сообщила Варвара. — Потом расскажете, как и что...

На центральной площадке концерт был в самом разгаре.

Солнце палило в глаза артистам. Обливаясь потом, изможденные, они один за другим скатывались со сцены и спешили укрыться в спасительную тень, где их страдальческие лица лениво обдувал теплый ветерок. Тут были настоящие казаки в мундирах, португелях и фуражках с боевыми пашками и пожилой казачкой атаманшей; бородатый факир в сверкающей изумрудной чалме, в атласных шароварах, голый по пояс, в сопровождении голых и ниже пояса ассистенток с



прекрасными ножками на высоких каблучках и в искрящихся блестками прозрачных купальниках; какой-то баянист в алой рубашке, с испитым лицом, победитель конкурса «Золотой голос России», цыганский хор, балет детского Дома культуры, духовой военный оркестр, известные на всю страну куплетисты и даже один очень популярный эстрадный певец, возле которого постоянно увивался какой-то татарчонок, умоляя вспомнить его и взять на перкуссию. Знаменитый артист посмеивался и одобрительно похлопывал того по плечу: «Конечно-конечно...»

«Каких же все это стоит денег? — поражался юноша. — Ведь не благотворительностью же они здесь занимаются?»

— Видал? — словно читая его мысли, спросил старик. — То-то...

Ведущей концерта была известная в прошлом диктор центрального телевидения — высокая женщина лет пятидесяти, когда-то очень красивая и теперь еще сохранившая привлекательность, несмотря на небольшие усики, морщинки у глаз и пигментные пятна, которые она выдавала за следы от ожога.

— Здравствуйте, — подошел к ней старик. — Мы от Варвары. Песенку спеть...

— А... хорошо, — улыбнулась она, — сейчас я вас выпущу, — и, оглядев юношу, прибавила: — А она вам сказала, что мне помощник нужен?

— Нет, не говорила, наверное, забыла, — предположил старик. — Знаете, я вообще-то режиссер... могу вам помочь, если надо... Если хотите, конечно...

— Нет, — вежливо отказалась она. — Мне лучше вот этот молодой человек поможет. Согласны? — обратилась она к юноше.

— Пожалуйста, — откликнулся тот. — А что надо



делать?

— Ты понимаешь... Ничего, что я на «ты»? — спросила она. Юноша пожал плечами. — Я не могу за всеми уследить... ведь мне надо на сцену бегать, объявлять каждого... потом жарко уж больно, сам видишь, а я блестеть начинаю, мне салфеточки нужны... А так и делать-то ничего не надо, просто быть рядом...

— Ага... ну, ладно, — согласился юноша.

— Вот и прекрасно. Пойду вас объявлять, — направилась она к сцене. — Да! Чуть не забыла! Вас же в программе нет. Как же представить?

— Просто, — нашелся старик. — Московский ансамбль.

— Хорошо, — улыбнулась она. — Ансамбль так ансамбль.

Сцена представляла собой металлический каркас, застеленный досками. С двух сторон к ней были приставлены лестницы для артистов. Перед сценой находились скамейки, на которых плотными рядами, словно куры на насесте, теснились зрители, а те, кому места не хватило, стояли огромным полукругом чуть поодаль, другие лежали на травке или прятались в тени.

— Выступает Московский ансамбль! — объявила диктор.

Старик и юноша выскочили на раскаленную солнцем сцену.

Поправили микрофоны. Старик раскурил трубку.

— В честь дня рождения Пушкина! Из поэмы «Кавказский пленник»! Чэркэсская пэстня! — объявил старик с акцентом и начал вступительный монолог: — В аулах на своих порогах чэркэсы древние сидят... Сыны Кавказа говорят о бранных гибельных трэвогах... О красоте своих коней, о наслажденьях дикой неги... — и далее до слов: — И



пэсни горские звучат.

Тут вступил юноша тоже с акцентом, старик подхватил.

Пот лил градом. Солнце слепило так сильно, что зрителей не было видно, а сразу от воды сквозь зеленые кружева взмывали вверх мелованные стены с огненно сверкающими куполами.

Спели три куплета, раскланялись и ушли.

— Вот какие талантливые у нас артисты, — вернулась к микрофонам диктор. — Сами музыку сочиняют. Молодцы, правда? А вот пока у нас следующий исполнитель готовится, я вам анекдот расскажу...

Она рассказала анекдот, станцевала, спела песенку и, наконец, объявив следующее выступление, спустилась со сцены.

Старик изнывал от жары. Тут подскочила Варвара.

— Ну что, орлы, выступили?

— Да они — молодцы, — похвалила диктор.

— Во! Какие мы кадры куем! — Варвару качнуло. — Ой, держите меня! Земля из-под ног уходит.

— Осторожнее, Варенька, — подхватил ее под локоть старик. — Под вами даже почва прогибается...

— Во какие у меня подчиненные, — разомлела Варвара. — Начальство любят — страсть! Пойдемте, вы меня проводите, я вас мороженым угощу. Я всех сегодня мороженым угощаю! — и увела старика за собой.

Концерт перевалил за середину. Подъезжали новые артисты, а те, которые уже выступили, получив деньги, спешили на другие площадки Москвы; и только жара не спадала.

— Ох, как же душно сегодня, — поражалась диктор. — Я, когда такая жара, знаешь, — заговорила она с юношей, — иду играть в казино. И все



время выигрываю. На прошлой неделе три машины выиграла подряд. В день по машине. А потом ко мне директор ихний подошел и говорит: «Я вас очень прошу, не играйте у нас пока, хотя бы неделю. Вам, говорит, больше нельзя выигрывать. А я две машины взяла, «Ниву» и еще какую-то, я не разбираюсь, а третью говорю, дайте деньгами... А в прошлом месяце квартиру выиграла. Ужас какой-то! Прихожу, ничего особенного не делаю и выигрываю!

«Боже мой, в казино народ ходит, — думал юноша. — Ну, ясно, что в такие игры никто просто так не выигрывает...»

Наконец, концерт закончился. Солнце клонилось за деревья, становилось прохладней.

— Приятно было познакомиться, — сказала юноше диктор и протянула руку. — До свидания.

— До свидания, — ответил юноша, раздумывая пожать эту руку или же поцеловать, но в конце концов пожал. — Может быть, еще встретимся.

— Все может быть, — улыбнулась диктор и усталой походкой побрела к выходу из парка.

«Да, — подумал юноша, — намаялась, бедная — вон, как тяжело идет».

Подлетела Варвара с взмокшими подмышками, со сбившейся челкой и нетрезвым горящим взглядом.

— Ну что, методист! В помощники режиссера выбился?! Ишь какой!

— Варвара Семеновна! — улыбнулся юноша, преодолевая ноющую боль в висках. — Вам все с гуся вода! Вон у вас какой бодрый вид! Я и то еле на ногах стою... А вы еще хоть десять праздников проведете — и ничего!

— Ладно, бог с тобой, мне не жалко. Поработаешь с мое, будешь тоже как заводной... Она тебе



хоть денег дала? — спросила вдруг Варвара.

— Да нет... Я и не просил... — растерялся юноша.
— А что, должна была?

— Ну не дала и не дала... Не понравился, значит. Что ж ты весь день бесплатно работал, что ль?

— Да. Еще и пивом ее угостил, — признался юноша. — Все для блага клуба «Юность»! Она ж и так еле ноги передвигала...

— Молодец! — похвалила Варвара. — Добрый мальчик. И богатый! Сколько ты можешь пива-то купить на свою зарплату?

— Ой, Варвара Семеновна! Нет ничего проще, сейчас посчитаем! Ага! Значит, ежели такого, как я ей купил, то бутылок тридцать, а другого какого-нибудь, попроще, тогда чуть больше, конечно.

— Ну-ну, считай, считай... Она после аварии месяц в больнице лежала, на машине разбилась, за это время у нее квартиру обокрали. Представляешь, сколько денег?

— Что вы говорите?!

— Да, и не просто обокрали, а и подожгли еще... Во как!

— Ужас...

— Не пойму я тебя! — вдруг улыбнулась Варвара. — Ты умный парень... Я тебе добра желаю. Найди ты себе работу нормальную... Поверь мне, я в этой жизни все испытала и поняла: деньги — это свобода!

«Что это она опять заботится-то так обо мне, — удивился юноша. — Эко ее на жаре разобрало».

— Варвара Семеновна, деньги — это, конечно, свобода, — ответил он, — но в разумных пределах. Можно стать рабом денег, а это еще хуже, чем вовсе их не иметь. Когда твои деньги диктуют тебе, как ты должен поступать, чтобы не потерять их — чего же тут хорошего?

— Ну, профессор! Молодой ты еще — жизни не



знаешь.

— А-а, — театрально плача, подошел сзади старик. — Варенька, отпустите...

— Подождите вы! — прикрикнула на него Варвара. — Все невменяемые, никто работать не хочет! Все на мне! Я, что ль, буду скамейки грузить?! Погрузите — отпущу...

Скамейки были длинные и тяжелые. Зрители уже поднялись с мест и самые отчаянные отплясывали под грохотавшую музыку.

— Ох... Так у вас же помощников здесь куча! — жалобно воскликнул старик. — Молодые, здоровые! Где они?

— Вот пойду искать, а вы пока грузите, — приказала Варвара и строевым шагом направилась в глубину аллеи.

— Сума она сошла совсем, что ли? — пожаловался старик. — Я буду ей еще скамейки грузить! Сначала, встань ни свет ни заря, тащись через всю Москву, транспаранты вешай, затем фотографируй ее, где она скажет, чтоб ей было хорошо, выступай тут, мучайся весь день на жаре, а потом еще и скамейки грузи! Сказать бы ей все в глаза, да боюсь, пользы не будет...

— Да уж, — согласился юноша. — Страшный человек.

К счастью, вскоре появилась Варвара с пляжно одетыми помощниками. Старик и юноша схватили свои цилиндры, пиджаки и сумки, распрощались с Варварой и собрались уходить.

— Подождите, я вас подвезу, — спохватилась Варвара. — Вместе поедem.

В один из дней старик сильно запоздал. Юноша ждал его в сквере, на скамеечке. Наконец, за деревьями показалась сутулая фигура старика. Шел он медленно, с трудом переставляя ноги и



горбясь сильнее обычного.

«Опять с похмелья? — подумал юноша. — Эх его клонит...»

Огромные темные очки в роговой оправе закрывали сразу половину лица старика.

«Это еще зачем? для маскировки, что ль? или так, для понту?»

Юноша поднялся навстречу старику.

— Вас не узнать...

— Здравствуй, дорогой... — простонал старик. — Давно ждешь?

— Да нет, не очень, — насторожился юноша. — Только пришел. Что с вами?

— Избили меня, птенчик, знаешь... Ох, сильно... Как не убили, не пойму. Спасибо, мужик какой-то шел — спугнул их...

— Да кто?

— Три амбала вот таких вот, — старик приподнял правую руку и застонал. — Ой, не могу... Гады...

Тут только юноша приглядевшись увидел, что очки закрывали не все — правая щека до подбородка отливала фиолетово-желтым, лоб был в ссадинах и синяках.

И тут старик снял очки — зрелище было ужасно. Правый глаз напоминал бутон нераскрывшегося соцветия какого-то экзотического желто-коричневого цветка с фиолетовыми прожилками и черноватыми вкраплениями, левый был не лучше, но, в отличие от правого, который вовсе был сомкнут, мог открываться наполовину.

— Боже мой! Кто же это вас так?! — попятился юноша.

— Видал? как дедушку отмутузили? — простонал старик, водружая очки обратно на нос.

— Да за что?



— А не за что... Просто так... Из-за сотового, — старик взял юношу под локоть. — Ну, пойдем потихоньку... Томочка мне свой сотовый дала... Зачем? Не пойму. Говорит, а то потеряетесь. Ну вот. Вечером, народу еще полно, на остановке стою, понимаешь, уже около дома, тут раз — она звонит. Зачем, падла, звонила? Ну, я полез в карман, достаю, и тут ко мне подлетает один, говорит: давай сюда! Я говорю: не дам. Тут еще двое подкатили, орут ему: отбирай!.. Я бежать, они за мной. Пока бегу, думаю: догонят — убьют... Забежал во двор, поскользнулся, тут меня и догнали... Ногами как начали мочить... Думаю: все... И знаешь, что меня спасло? Парень какой-то шел с дамою своей, он им орет: что ж вы делаете?! Те бежать... А я лежу... Кровищи море... А парень, говорит: я их знаю, они местные. Помогли подняться, до дому довели... Сам бы не дошел... Может, спрашивают, скорую? Нет, говорю, домой лучше... Видишь теперь, чего стало? Жуть... Вот, брат, времена настали какие... Уж и по улице пройти нельзя... За сотовый убивают...

— Может, надо было отдать им этот сотовый? Сколько он там стоит, ну, баксов сорок, все же жизнь-то дороже... — пожалел юноша.

— Да я и сам теперь думаю: чего я за него уцепился. Гори он огнем! Жизнь дороже... Чего она мне его дала? Зачем он мне нужен? Но как представил: прихожу, а она меня спрашивает: где сотовый? Представляешь, нет?... Томочка б меня сожрала... «А-а, — завизжала бы, — вам ничего дать нельзя!» И в глотку зубами... «А-а-а!!!...» Неизвестно, что хуже...

— Да, высокие отношения...

— Что ты, выше не бывает... Эверест! Дальше уже небеса... Ну, ничего... — старик отпер замки и отворил тяжелую дверь. — Сейчас чайку... Эх, воды нет... Надо сходить. Посидишь, может? Я схожу



пока.

— Куда ж вы пойдете? Давайте я...

— Ох, спасибо тебе... Только там теперь воду не дают, где раньше. Денег хочут... Да я теперь другое место нашел, тут вот магазин открыли для ветеранов. Ты один-то не найдешь...

Магазин, действительно, оказался недалеко, ближе, чем троллейбусное депо, но дальше дворницкой, клуба и ботанического садика.

— Здравствуйте, милые, — сказал старик, зайдя в небольшое чистенькое помещение, где за столиками испуганно и торопливо обедали древние седые деды. — Позвольте у вас тут водички набрать, — обратился он к высокой черноволосой женщине в белом халате, которая сонно наблюдала за обедающими.

Женщина неприязненно оглядела старика.

— Где вы хотите набирать? Здесь, что ли? — возмутилась она. — Идите в магазин!

— А тут что? — удивился старик.

— Столовая!!!

— А! Понятно. А магазин там, значит, — старик указал на соседнюю дверь. — Видал, какой сервис? — шепнул он юноше. — У них тут и столовая есть!

— Давайте я вам наберу, — подскочил откуда-то сбоку расторопный молодой человек и, пока старик и юноша разглядывали товары и сравнивали цены, наполнил канистру. — Держите.

— Что-то мутновата... — удивился юноша. — И пар дает...

— Вам горячей? — спросил молодой человек.

— Нет, миленький, нам холодненькой, — попросил старик. — У нас ведь вообще никакой воды нет. Вот как бывает.

Молодой человек вылил воду из канистры в



раковину и принялся наполнять ее заново.

— Слушай-ка, — вдруг воскликнул старик. — А что, если нам пивка взять? Так, чуть-чуть, чтобы развеяться... может, полегчает...

— Можно, — одобрил юноша.

— Вон там такая хорошая. Давай возьмем? — предложил старик, указывая на полуторалитровую «Бадаевского».

— Берем! — согласился юноша.

— Миленькая, — обратился старик к продавщице. — Дай-ка пивка, вон ту с краю.

Продавщица сняла бутылъ с полки и поставила на прилавок.

— О! Видал как? Последняя, — обернулся старик к юноше. — Нас ждала, красавица. А бутылки не принимаете? — поинтересовался он. — Нет? А жаль...

Тем временем канистра и бутылъ были уже наполнены и стояли на коврикe у входа. Вокруг канистры проступало сырое пятно.

— О! Гляди-ка, перелил слегка, — кивнул юноше старик. — У меня там дырочка для воздуха проделана, чтоб лилось лучше.

Юноша взял в одну руку канистру, в другую бутылъ.

— Подожди, — сказал старик. — Ты мне давай тоже что-нибудь. Что ж ты один понесешь...

— Нет. Мне для равновесия, — успокоил юноша. — А вы пиво несите.

— Ну, смотри сам...

Проходя мимо контейнера, еще раз глянули на бутылку. Та стояла, как ни в чем ни бывало, на самом видном месте и никого решительно не интересовала.

— Эх, пакет бы хоть, — вздохнул старик, — чтоб в руках не нести. Может, там есть где? — он заглянул



в контейнер, но пакета не нашел. — Ну и черт с ней. Было б две хоть, а то одна. Пошли...

Не успели спуститься в подвал, как следом появились три девочки с мамашей.

Девочки были одного примерно возраста и роста. У одной на носу помещались круглые очки с толстенными линзами, другая сильно горбилась и не переставая хихикала, а третья была стройная, милая и пухленькая.

— Здравствуйте, — сказали они.

— Здравствуйте, — ответил старик. — Чего желаете?

— Это здесь театр?

— Совершенно верно. Именно здесь, — подтвердил старик.

— Мы поступать хотим.

— Что — все вчетвером? — поинтересовался старик.

— Нет, — улыбнулась мамаша. — Поступать будут пока только двое. А остальные посмотрят.

— А, ну-ну, пожалуйста, пожалуйста. У нас свободно. Проходите, садитесь, сейчас чай будет, кто желает... — пригласил старик. — Наливай, — шепнул он юноше, — в чашки, чтоб незаметно было.

Юноша тихонько свинтил крышку бутылки и осторожно, чтобы не поднимать пену, наполнил чашки пивом, опуская их под стол.

Мамаша и девочки уселись в зале.

— Ну, кто первый? — спросил старик и отхлебнул из чашки.

— Я, — поднялась девочка в очках с толстыми линзами.

— Как тебя зовут?

— Леночка.



— Леночка? Очень хорошо. А чего ты так тихо говоришь? Говори громче. Что будешь читать, Леночка?

— Пушкина.

— Очень хорошо. Давай, читай... А очки можешь снять? А то глаз не видать.

— А я без очков не вижу... — потупилась Леночка.

— Что, совсем ничего не видишь? Ну-ка, сними.

Девочка послушно сняла очки и тут же сильно прищурилась.

— Меня видишь? — спросил старик.

— Нет.

— Как нет? Что, совсем нет?

— Яркое пятно.

— У-у-у... Да... Тяжелый случай... Плохо дело. Ну, ладно... Читай Пушкина. Как называется?

— Орывок из «Евгения Онегина».

— Ну, читай.

Орывок был прочитан быстро и сбивчиво. Леночка несколько раз замирала и закатывала глаза под потолок.

— Что ты там ищешь? — спрашивал тогда старик. — Там что — написано что-то? На меня смотри...

Леночка кивала, но всякий раз, чуть запнувшись, глядела в потолок.

— Догадываешься, почему текст забываешь? — спросил старик, когда чтение прекратилось.

— Нет, — ответила Леночка.

— Потому что картинки нет, — торжественно объявил старик, отхлебывая пиво. — Слова ничем не подкреплены, образов нет, чувства не задействованы. Еще что-нибудь знаешь? Петь умеешь?

— Нет.

— Что, совсем ни одной песенки не знаешь?



— Знаю.

— Ну, спой.

— Я плохо пою, — зарделась Леночка.

— Так мне не надо хорошо, — утешил старик. — Мне нужно понять, что ты умеешь и что можешь. Ведь ты учиться пришла? Вот мне и надо определить, с чего с тобой начинать... Пой, давай... и танцуй!

— Танцевать?! — Леночка попятилась.

— Ну да! А что тебя так удивляет?

— А как же... без музыки?

— А зачем тебе музыка? — пожал плечами старик. — Ты внутренним слухом. Напевай что-нибудь и танцуй... Ну, хочешь, — видя растерянность бедной Леночки, сжалился он, — я тебе пластинку поставлю? Тебе какую: вальс, танго, фокстрот?

И тут Леночка, видимо, желая покончить с этим мучением, сделала несколько робких шажков и поворотов, напевая тихо и жалобно.

— Ага, — одобрил старик. — Ну, хорошо. Садись пока, отдыхай. Кто следующий? — И пододвинул юноше опустевшую чашку. — Плесни чуток...

Поднялась пухленькая.

— Тебя как звать?

— Катя...

— Что читать будешь, Катенька?

Пивная бутылка была уже наполовину пуста.

Воспользовавшись паузой, юноша поднялся по ступенькам и выглянул на улицу. Светило солнце, в саду чирикали птицы, а вдали, за деревьями, гудел неугомонный проспект. Юноша прикрыл дверь.

Когда через несколько минут он вернулся в подвал, то застал такую картину:

— А ты что же? — обратился старик к сутулой



хохотушке. — Сидишь, все хихикаешь? А сама попробуй! Вон, они — молодцы, — кивнул он в сторону Леночки и Катеньки, — не побоялись, выступили и поступили. И ты давай!

— А я не готовилась, — объяснила та, смущаясь.

— Ну, к следующему разу подготовься, а сейчас иди читай «Лебедь, Рак и Щука», — приказал старик и сунул ей книжку.

Вечером, придя домой, старик обнаружил Томочку в легком подпитии. Томочка сидела на кухонном диване, со сбившейся на глаза челкой, в распахнутом халате на голое тело. На столе стояла, опустошенная двухлитровая пивная бутылка.

— Томочка, птенчик, — всплеснул руками старик, — по какому поводу праздник?

— Поздравьте меня, я сдала... — подперев локтем неудержимо соскальзывающую голову, сообщила Томочка и, закинув ногу на ногу, обнажила пухлую ляжку.

Легкое природное косоглазие, усугубленное принятием алкоголя, приобрело ужасающие масштабы. Левый зрачок скатился вниз и глядел в пол, а правый задрался кверху и прилип к переносице.

— Пиво кончилось, — разочарованно объяснила Томочка и, схватив пустую бутылку за горлышко, метнула ею в старика, — еще хочу!

— Может, хватит, птенчик? Время позднее уже...

— Нет, это свинство, в конце концов. Я сдала экзамены, окончила эту проклятую академию, а вы даже не рады! — Томочка поднялась, гордо запахнула халат и, покачиваясь, зашагала в уборную. — Я буду пить и веселиться до утра! — пригрозила она и скрылась за дверью.

Перед стариком возникла серьезная дилемма:



идти в магазин за пивом или продолжить гуляние при помощи водки, которую он купил заблаговременно по дороге домой.

— А может водочки, птенчик? — робко спросил он через дверь и сквозь водопроводное урчание услышал окончательный приговор:

— Шампанского!

Улыбнувшись, старик снял пальто и направился в комнату, где в серванте за вазой стояла бутылка «Советского» шампанского, спрятанная на всякий случай. Это был именно тот случай и старик, взяв бутылку, понес ее на кухню.

Томочка была уже там и курила, стряхивая пепел на скатерть.

— Шампанского?! — переспросил старик, ставя бутылку на стол. — Пожалуйста!

Томочка ахнула от восхищения.

— Вы — волшебник! Открывайте скорее!

Старик открыл, запустив пробку в потолок, и наполнил бокалы.

— А знаете, — Томочка пьяно раскачивалась на стуле с бокалом в руке. — Давайте вспомним молодость. Сыграем «Мулатку», как когда-то... Хочется чего-то... Надоело все...

— Давай, Томочка, птенчик! Кто ж против-то? Ты ж знаешь: я всегда «за».

— Что вы там все эту му-му поете, — продолжала Томочка. — С вашим талантом... А помните, как бывало? — она мечтательно закатила глаза. — «Эй цыгане, забуду с вами тоску любую, да и печаль! Гитара звонче звени струнами...» Эх! Что говорить... Губите вы себя!

— Гублю, птенчик, — соглашался старик. — Кто ж себя погубит лучше, чем ты сам?

— Губите... и я с вами себя гублю, — Томочка загрустила. — Посмотрите на себя. Вы — старик. А я молода! Мне жить хочется.



— Так кто ж тебе не дает, птенчик? Живи... Я не против, я ж все понимаю. Вспомни, я тебе хоть раз когда словечко сказал? А ведь мог. Но я ж молчу... Живи.

— Вам лишь бы отделаться от меня. Я вам мешаю. Не нужна я вам.

— Да почему ты так решила?

— Да вам уж не нужно...

— Чего не нужно-то?

— Того, чего всем мужчинам надо!

— А-а... Ну, знаешь... Почему это? Просто годы берут свое... конечно, уж не то, что раньше, но ведь бывает... Да и разве ты не довольна?

— Довольна? Уж, конечно... Ребенка-то вы не можете сделать!

— Ребенка?

— Да!

— Зачем, птенчик? — Старик замер, раскрыв рот.

— Я хочу. Мне уж тридцать. Если не сейчас, то когда? Другие, вон, отрожались, уж дети в школу ходят. Я одна, как дура какая...

— Не надо, птенчик... Пусть другие мучаются. Тебе-то зачем?

— Хочется... Я же женщина.

— Это ты сейчас женщина. А представь: девять месяцев токсикоза, живот таскать, роды в мучениях, это ж как операция, стяжки на груди, кормежка, пеленки, бессонные ночи, ужас! А пока это чудо природы вырастет, оно тебе всю печень выест, всю молодость и красоту сожрет, все соки высосет. Раньше-то все для себя, а теперь для этого спингрыза маленького. Уа-уа! Уж не женщиной ты будешь, а матерью, маткой, старухой! А вымахает чадо и пинком тебе под зад! Проваливай, давай, нечего тут место занимать! Кормить тебя еще!



Старую рухлядь!

— Ну и пусть, — заплакала Томочка. — Я все равно хочу!

— Ну, знаешь. Из ума ты выжила совсем... А хочешь — так кто ж тебе мешал? Давно бы завела.

— Я от вас хочу...

— От меня? Хм... Однако... Так стоит ли от меня-то? Да уж и поздно уже, наверное. Уж и силов таких нет.

— Давайте попробуем... Может, получится?

— Нет, попробовать-то можно. Да только зачем?

— Ребеночка мне...

— Тьфу ты пропасть... Что это на тебя нашло? На пьяную голову...

— Малюсенького...

Она потянулась руками к его брюкам и ухвати-лась за штанину. Старик попятился.

— Да оставь ты! Нельзя же так. Подожди хоть до завтра...

— Сейчас!

Томочка крепко вцепилась обеими руками в брюки старика, он дернулся, пуговицы на ширинке не выдержали, отскочили и покатались по полу. Старик сделал шаг назад, потащив за собой намертво ухватившую за сползающие штанины Томочку, и выволоч ее в коридор. Проволочив ее до постели, он высвободился из порванных брюк и, выйдя в коридор, запер дверь на ключ.

— С ума сошла, — выдохнул он и утер пот со лба. — Во как! — старик прошел в свою комнату, вынул из сумки водку и хлебнул из горлышка.

— Уф... ты, а-аж продирает!

Закусив на кухне и хлебнув шампанского, он на цыпочках подкрался к Томочкиной комнате. Из-за двери доносилось похрапывание.

— Ну и слава Богу, — вздохнул он. — Устала



деточка, пусть отдохнет, поспит... бедненькая...

В студию приходили новые люди и всех их старались приобщить к ансамблю. Появились скрипач и гитарист. Дуэт превратился в квартет и в таком составе были переписаны несколько самых «забойных» песенок.

В передаче появился ведущий — жизнерадостный толстяк, из бывших кавезнщиков. Он внес оживление в общее убожество, хотя постепенно вытеснил с экрана всех исполнителей. Временами он требовал от столичных театров предоставить ему роль Гамлета, уверяя, что вполне готов для этого, так как по образованию — актер.

Наконец, после трех лет существования ансамбля, это безобразие, видимо, переполнило чашу чьего-то терпения и передачу закрыли.

Веселый толстяк, заметно погрузнев, объявил, что передача уходит в бессрочный отпуск и умолял следить за рекламой.

— Все, шабаш, — обреченно вздохнул старик. — Было одно место, куда можно прийти и за «бесплатно» что-то сказать и того теперь нет. — Не смогли переварить... Кому-то она такой костью в горле стала, что никак... Понимаешь, нет?

Юноша кивал. За три года он многому научился у старика. Речь его выправилась, он увереннее держался на сцене, ощущая, как по жилам растекается не кровь, а живой ток, который незримо пропускает через себя актер. Это действительно был наркотик, от которого невозможно отказаться! Всегда и во всем будет искать его человек, а иначе погибнет от тоски и печали по потерянному блаженству. «Сладкая каторга» — говаривал великий режиссер. Именно! Именно сладкая и именно каторга! Но ведь все, что имеет хоть какую-



нибудь цену — таково! И любовь, и жизнь, и смерть...

— Опять не выгорело, — взгрустнул старик. — Знаешь, — разоткровенничался он, — было у меня в жизни несколько возможностей. Судьба мне четыре шанса давала. Мог бы сейчас быть и заслуженным, и народным, и жить припеваючи, и не здесь... Актерская стезя что? Нищета! Пока учился, и одеться-то не на что было, мне всей семьей пальто покупали. Жрать было нечего! Потом театр. Зарплата, как у лаборанта. Опять нищета... Гончаров был главрежем тогда на Бронной. Ух! Его все боялись, как огня! Но меня он любил. Репетируют спектакль, к нему: «Андрей Александрович, у нас на роль такого-то никого нет...» Он говорит: «Как никого? А вот же мастер пришел!» Это он про меня. Потом опять к нему: «А вот на роль этого не знаем, кого назначить...» — «Как так? Что вы мне голову морочите? Да вот же мастер есть!» К молодым хорошо относился. Все хотел, чтоб мы играли больше, опыт обретали. Вот я по два-три небольших эпизодика в каждом спектакле и набирал его.

Почти два года я оттрубил — денег не было и нет. И тут первый шанс мне судьба подкинула. Раньше, знаешь, лагеря были молодежные, «Спутник», там. Международная комсомольская лавочка по всему миру, в Ялте, в Алуште и еще где-то... Так меня пригласили и говорят: «Мы с вашими документами познакомились, вы нам подходите. Нам как раз такой человек, как вы, нужен. Будете вести культурную работу среди гостей и отдыхающих. Вы человек образованный, это как раз по вашей специальности. Раз в год оплачиваемый отпуск в любой точке мира за наш счет». Это в те времена! Что ты! «Перспективы, — говорят, — у вас неограниченные, вплоть до министра культуры».



— Ну и что же вы? — переживал юноша.

— А-а. Подожди. Не все так просто. «Только, — говорят, — есть один пункт, который необходимо исправить». Догадываешься, какой?

— Национальность? — предположил юноша.

— Нет, — отмахнулся старик. — Это они проглотили. Страшнее всего оказалось то, что я не член партии. «В партию надо вступить, — говорят, — без этого нельзя».

— Ну и вступили бы.

Старик покачал головой.

— Не смог, да и сейчас не могу. Это ж все равно, что подписаться под всей этой... идеологией, под всеми преступлениями, под всей этой гнусью... Нет, не могу!

— Да...

— А второй шанс был, когда я уже из театра ушел, режиссерские курсы окончил и на телевидении уже два с лишним года отпахал. Бондарчук, светлой памяти, Сергей Федорович к себе меня звал. «Я, — говорил, — тебе все покажу, всему научу. Переходи ко мне». Вот тут я прокололся. Надо было идти. Я тогда думал: сам всего добьюсь! Свое буду делать, а не чье-то... Потом уже, лет десять спустя, встретил я его в Союзе кинематографистов. Идет, старенький, по коридорчику мне навстречу. И я сам уже тогда седой пень, с телевидения ушел, на вольных хлебах, говорю ему: «Здравствуйте, Сергей Федорович. Помните меня?» А он посмотрел, знаешь, так, невидяще. «Помню, — говорит. — Что же ты тогда ко мне не пошел?»

— Да...

— Третий шанс был, когда друг меня звал на киностудию МВД. У них же своя лавочка, как полагается. Замминистра к министру ходил за меня просить. Тот посмотрел документы. Глянул и



говорит: «Да вы что?! Еврей, да еще и беспартийный! Убрать!»

Четвертый шанс я сам себе наколдовал. Думал обратно на телевидение вернуться. Ведь десять лет жизни было отдано. Я это Останкино открывал. Помню, побелили, покрасили все, в воздухе взвесь пыли, и, чтоб к сроку запустить, все оборудование тотчас поставили и врубили. А там магнитофоны, камеры, пленка, все позабывалось, пришлось потом всю технику полностью менять.

Пришел я туда, друзья-то остались, говорю: «Возьмите помрежем». А времена уж другие. Без партии только вторым помощником. Друг говорит: «Вторым не ходи. Не выберешься». Я и плюнул... А-а... думаю, и без вас проживу!

— Да...

Юноше нравились рассказы старика, волей-неволей перенимал он его манеры, переживая с ним, становясь как бы свидетелем того, что давно уже кануло в прошлое.

— Что я делаю здесь, не пойму, — продолжал старик. — Вся родня уже давно в Америке. Я один здесь. К себе зовут: «Приезжай». А что я там буду делать? Кому я там нужен? Племянница пишет: она на трех работах, муж на трех работах, в пять часов подъем, половину всех доходов — за квартиру. Ну и зачем? Что, здесь нельзя было так работать? У нас, говорит, у каждого по машине! Да там без машины ты вообще не человек! Они ж весь общественный транспорт у себя уничтожили. Без машины никуда добраться нельзя. Мы, говорит, здесь свободны. Да, какая же это свобода, если надо вкалывать с утра до вечера! И как не вкалывай, все равно по их меркам останешься нищим. Стоило уезжать, чтобы так жить! Брат говорит: «Приезжай, найдем машину. Будешь почти развозить». Ага! Спасибо. Бред! Кому я там нужен,



без знания языка, в чужой стране, с чужой культурой, историей, традициями?.. Никому.

— Да...

— Ну ладно. Что там Варвара?

— Варвара? — юноша покривился. — Чудит.

— А-а, — старик прищурился. — Ты не перечь ей. Она девушка нервная. С ней осторожнее надо. А то кусаться станет. Если б я ей хоть на секунду поверил, нас бы сейчас здесь уже не было и студии тоже не было, а был бы склад или магазин какой-нибудь. Тут комиссия приезжала из управления культуры. Сам Пальчиков был. Варвара перед ним как шавка стелилась. Посмотрел, говорит: «Как же театр может в таких условиях существовать? Что это такое? Немедленно ремонт». Посчитали, то да се, два миллиона... «Отдайте, — говорит мне, — ключи и документы Варваре». А я спрашиваю: «А зачем?» Представляешь, нет? Какой-то сморчок спрашивает: «А зачем?» Там все чуть не упали. А у него свита человек десять. Такие амбалы. «Как зачем? Для оформления». — «Пожалуйста, — говорю, — оформляйте... А документы я вам не отдам». Он мне: «А вдруг вы потеряете?» — «Извините, говорю, но я ей ничего не отдам. Когда надо, пожалуйста, я сам приходить буду, открывать, закрывать, сколько угодно, но помещение, говорю, по всем бумагам оформлено на меня и ни на кого другого. Так что, извините».

— И что?

— Проглотили. А отдай я ей документы, она бы их тут же потеряла и ищи-свищи. Все! Ничего не докажешь...

После праздника юноша был вызван к начальству.

— Чего-то он не того наснимал, — сурово сказала Варвара, просматривая фотографии.



Юноша заглянул ей через плечо.

И действительно. На всех фотографиях Варвара получилась даже страшнее, чем она была на самом деле. Кое-где лицо ее было наполовину обрезано, кое-где смазано, хищные глаза и злобный оскал представляли жуткое зрелище и вселяли тревожные мысли, ужасные трупные пятна были видны решительно на всех снимках.

— Что-то он не того... совсем плохой стал, — повторила Варвара. — Дедуля наш...

Юноша и сам был поражен. Съемка была хуже любительской, а чем это снималось, было и вовсе не понятно. Хотя, если учесть тогдашнее состояние старика...

Просмотрев все снимки, Варвара быстрым движением спрятала их в стол.

— М-да, — произнесла она таким тоном, который у сведущего человека непременно вызвал бы мурашки по телу и желание спрятаться.

«Дома, небось, жечь будет, чтоб никто не увидел», — подумал юноша.

— Вот что, дорогой, — сказала Варвара, взглянув на юношу. — Свободен пока... Когда понадобится, я тебя вызову... Понял?

— Слушаюсь, Варвара Семеновна! Разрешите идти?

— Иди...

(Окончание следует)



Штрихи к действительности

Занял очередь на переговорном пункте в Москве. Стою. За мной дяденька лет пятидесяти с брюшком, и за ним уже хвост вытянулся. Передо мной оставалось всего два человека, когда к моему дяденьке подошла высокая, красивая женщина и хорошо поставленным голосом спросила:

— Вас предупреждали, что я занимала за молодым человеком? — и указывает на меня взглядом.

Дяденька парирует:

— Я и не спрашивал, но и меня никто не предупреждал.

— Ну, это потому, что вы не спрашивали, — самым обычным тоном отвечает высокая и красивая и преспокойненько становится за мной.

Я отворачиваюсь, чтобы скрыть поглупевшую от удивления улыбку...

Стоит ли добавлять, что никакой очереди она за мной не занимала?..

Сент., 1987



**ПЁТР
ЧЕКАЛОВ**

Публицистика





Незабвенный период борьбы с алкоголизмом! Как-то в Москве, в поисках где бы чего перекусить занесло меня в какой-то буфетик на Комсомольском проспекте. Утро. Пустовато еще. Стою, жую сухую колбасу с хлебом.

Заходит мужчина средних лет, одет почти интеллигентно, и приглушено начинает разговаривать с буфетчицей. Он говорит настолько тихо, что слов его совсем не слышно, тем более, что я не прислушиваюсь, занят делом. Беседа их, если можно назвать это так, привлекла мое внимание лишь после того, как настойчиво стал повторяться один и тот же вопрос буфетчицы:

— На что тебе?

—

— На что тебе?

—

— На что тебе?

—

Разов пять она повторила эти же самые слова, а на шестой спросила:

— Зачем?

На седьмой:

— А?

Далее:

— Что я тебе, рубли печатаю?!.

Через полминуты мужчина с повеселевшим лицом покидал буфет и, полуоборачиваясь, что-то говорил на ходу.

— Смотри, только не занеси! Я тебя!.. – бросала буфетчица вдогон.

—

— Зайдешь?.. Смотри, если наодеколонись, лучше не заходи!

Окт. 1988



После занятия по пьесе Горького «На дне», где разговор перекинулся и на нынешних бродяг и бездомных, выброшенных обществом на обочину жизни, спускался вниз по Карла Маркса и увидел нищего старика, который стоял на четвереньках и крестил ноги прохожих. Не знаю, почему он не стоял или не сидел, а опирался на колени и левую руку, а правой все крестил. Я бросил ему пару монет в шапку. Одна не попала и покатилась по асфальту. И пока я нагибался, подбирая и снова бросил ее в шапку, он все крестил то ли монету, то ли мою руку.

1.10.91

Автобус остановился в Левокумке. Стоянка была недолгая, к тому же ветер дул лихой, и я остался в салоне. В проходе показался и двинулся с протянутой зимней шапкой низенький мужичок в очках и заношенной фуфайке, что-то тихо приговаривая. Когда он приблизился, я заметил очень толстые стекла очков и расслышал слова, которые он будто напевал:

— Дай Бог вам всем здоровья!
— Дай Бог вам всем здоровья!
— Дай Бог вам глазочками своими смотреть до самой старости!..

1.04.92

Ехал недавно на дачу с рюкзаком и лопатой. В троллейбусе столкнулся с Сергеем. Сергей – баламут. После института он лишь месяц – другой отработал в школе и перешел в милицию, откуда его вытурили за пьянку. Потом устроился мастером на ликеро-водочном заводе, откуда ушел в бройлерное объединение, но и там продержался



недолго... Это все с его слов. Сам я знаю его мало, хотя и учились когда-то вместе, а однажды даже в одном стройотряде трудились, но и оттуда его выгнали за то, что спал на объекте...

Ну, значит, едем, разговариваем. Он держится бодрячком, настроен оптимистично: числится в какой-то конторе, где «ни за что» получает две тысячи в месяц, но это так себе, не основной доход. Вот возьмет он десяток ящиков водки по 50 рублей за бутылку и продаст по 80. Вот это заработок!

И закончил он свою речь такими словами: «Сейчас такое хорошее время, когда все зависит от тебя: сумел — сумел; не сумел, — значит, сам виноват...»

Я подумал тогда, что, видимо, только таким, как Сергей, и живется хорошо в наше смутное, ненормальное время.

21.04.92

Каждое утро еду на работу в набитом автобусе или троллейбусе. На ум приходит банальное сравнение: как в консервной банке. Разница только в том, что там не болтает, а здесь не заливают томатом.

18.12.92.

Хлеб был на исходе, и я пошел в магазин.

Очередь продвигалась спокойно. Человека за три до меня мужчина в очках, с острыми чертами лица, протянул продавщице бумажные деньги и выложил на стол горсть серебра и меди. Помимо десятикопеечных, я заметил пятаки, трехкопеечные и даже однокопеечные монеты. Откуда он их набрал в наше время — ума не приложу. Продав-



щица приняла бумажные деньги и стала пересчитывать, а на мелочь сказала: «Этого не надо», и даже сделала рукой знак, означающий: уберите.

— А я сказал: дай мне хлеб! — холодным, не терпящим возражений тоном сказал мужчина.

— Они вышли из оборота. Мы ими уже не торгуем, — пояснила женщина за прилавком и ладонью придвинула мелочь к хозяину.

— А я сказал: дай! — повысил тот голос, отпихивая монеты обратно.

— Не «дай»... — попробовала перевести разговор на морально-этические нормы продавщица и, видимо, хотела добавить, что обращаться к ней следует на «вы», но мужчина не дал ей закончить и резко перешел на крик:

— Дай, я сказал! Сволочь! Почему не берешь советские деньги?!

Очередь безмолвно внимала пикировке очкастого с продавщицей, лишь одна-две женщины проронили какие-то замечания в адрес мужчины. А он все орал благим матом, угрожающе передвигая свое лицо через прилавок: «Дай! А не то сам возьму!» И, действительно, взял буханку, резко размахнулся ею и закончил натуральным матом: «Щас как ...!» Но не ударил, кинул хлеб на прилавок, видимо, показался черствым, взял другой и направился к выходу.

С конца очереди какая-то женщина сделала ему замечание.

— Замолчи, дура! — заорал он на нее и покинул магазин.

Ни один мужчина, в том числе и я, не вступился за оскорбленных женщин. Я не боялся ни ссоры, ни возможной драки с этим уродом, но меня в это



время почему-то малодушно занимал вопрос о том, что формально мужчина прав: такую мелочь официально еще никто не отменял.

Останавливало еще что-то, не вполне осознаваемое в ту минуту: до какой степени отчаяния и озлобления доведен мужчина (не пьяный!) за короткий промежуток гайдаро-ельцинских перемен, если для покупки одной буханки хлеба, помимо бумажных рублей, ему пришлось наскрести еще бог весть откуда целую горсть вышедшей уже из употребления мелочи!..

Продавщица, сдерживая слезы, смахнула деньги в ящик и очень тихо стала отпускать очередников. Мне было стыдно и неудобно, будто кто-то без спроса залез в душу и нагадил... Не глядя на женщину, я показал, что мне нужен один хлеб, взял его двумя пальцами и вышел на улицу...

11.07.93.

Сегодня просматривал информацию из районов и городов края по защите конституционных прав детей. Вот один из пунктов сообщения, поступившего из Ипатовского района (31.03.94. № 01/07-94):

«Глава администрации Ставропольского края Кузнецов Е.С. выделил детскому дому-интернату 10 млн руб. от оставшихся средств своей предвыборной кампании. На эти средства закуплены детям игрушки, магнитофоны, а также закуплена одежда для поездки летом в Санкт-Петербург на Олимпийский фестиваль».

Возможно, я неблагодарный человек, но я подумал: сколько же было потрачено на саму предвыборную кампанию, если только остатки составляют 10 млн?! И сколько можно было бы



купить на это одежды, конфет и игрушек для детей?

11.04.94.

Недавно навестил своего земляка — руководителя цветущей фирмы, ворочающей сотнями миллионов. Настроение у него было подавленное: за последнее время украли пять машин, в том числе и КамАЗ с товаром; с июля месяца государство задолжало и до сих пор не выплачивает ему 380 миллионов рублей; за установку телефона потребовали миллион, а потом пришли и предложили доплатить еще 48 тысяч... Действительно, мало радости.

— Я построил три маленьких завода, — говорил он. — Планы — громадные! Я хочу и знаю, что смогу их осуществить, но сейчас такая ситуация, что выгоднее перевести все состояние в доллары и сидеть сложа руки...

Решил устроить детей в садик. Позвонил главе администрации района, тот направил к заврай-оно, та, в свою очередь, — к главе администрации. И снова все по кругу... Я вижу, что от меня опять хотят получить деньги. Петя, мне не жалко их, но мне обидно, что меня принимают за потенциального дурака, которого можно раздобрить таким примитивным способом...

12.02.94.

Только что в программе «Итоги» (НТВ) показали видеосюжет: в Чермене на психиатрическую больницу напала группа боевиков (не разобрал с ингушской или осетинской стороны): постреляли, разломали окна и двери, вынесли из кухни все, что было можно. Медперсонал разбежался, а много-



национальный безумный мир, наоборот, сплотился, выставил охрану, наладил питание; когда начинался обстрел, сами успокаивали буйных, спуская их в подвал. И главное, что меня поразило: в этом доме душевнобольные ингуши и осетины ладят между собой куда лучше, чем их здоровые соотечественники...

Мир перевернулся. Когда нормальные люди ведут себя как умалишенные и дикари, сумасшедшие вдруг повели себя как вполне порядочные люди.

17.01.93.

Вчера по программе «Время» передали сюжет выступления Дж. Буша (младшего) на авианосце «Линкольн» перед возвращающимися из Ирака военными. Он сказал буквально следующее: «Вы сражались за свободу иракского народа и за мир». О нефти — ни слова.

Ярчайший образец американского цинизма и того, как можно гнусность и мерзость преподнести в праздничной упаковке.

3.05.03.

Где-то в девятом часу вечера прибыл из Тамбова в Мичуринск, зачуханный, заштатный городишко. Нужно было сдать сумку в камеру хранения, чтобы не таскать ее за собой повсюду. Там меня в первую очередь спросили, когда я буду забирать. «Утром в девять», — отвечаю я.

— Двадцать девять сорок и двадцать девять сорок, — проговаривает женщина за кассовым аппаратом.

— Что «двадцать девять сорок»? — не понимаю я.



— За двое суток два раза по двадцать девять рублей и сорок копеек, — поясняет она.

— Почему двое суток, если я оставляю сумку вечером, а забираю утром?

— Читайте! — делает она указательный жест.

И я читаю на листке бумаги: «Оплата за календарные сутки — 29 р. 40 к.» Следовательно: с 20-00 до 24-00 — одни сутки, а с 00 до 9-00 утра — следующие сутки...

Я хмыкнул, забросил сумку за плечо и пошел искать гостиницу.

24.04.03.

Говорят, на инаугурации нового президента Карачаево-Черкесской республики М. Батдыева присутствовал Чубайс, начавший свое выступление словами: «Я тот самый Чубайс, которым вас так долго пугали...»

Уже не страшно. Омерзительно.

2.10.03.

Июнь 2010 года. Грозный. Отчитал лекцию в университете и вышел на площадку, где стояли такси, чаще всего — обычные легковушки без каких-либо опознавательных знаков. Подхожу к одной, наклоняюсь к открытому окну и называю гостиницу. Разговаривавший по телефону мужчина средних лет переспросил недовольно и кивнул на сиденье. Сел, поехали. Доезжаем. Я вынимаю деньги и протягиваю водителю.

— Не надо.

— Как не надо?

— Просто не надо.

— Первый раз вижу таксиста, который довез и



не берет деньги.

— А я не таксист. Я — мент.

Достает из кармана брюк пистолет и показывает. Аргумент более чем убедительный.

— Зачем тогда привез?

— Ну, ты попросил, я и довез...

Июнь, 2010.

Работаю профессором кафедры гуманитарных дисциплин в образовательном учреждении с многозначительным наименованием: Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования. Зарплата: 15 тыс. рублей. В связи с недостаточностью доходов решил найти подработку и открыл сайт rabota.1777.ru. И первая вакансия на 24.09.13. — танцовщица с окладом от 30 до 46 тысяч рублей (ООО clubinfo).

Чуть ниже обнаружил и вакансию профессора (правда, не по моей специальности): график — полный день, занятость — полная с окладом 12416 рублей (объявление вывешено «ГКУ Центр занятости населения г. Ставрополя» 20.09.13.)

В 1759 г. поэт Сумароков составил эпиграмму такого содержания:

Танцовщик! Ты богат.

Профессор! Ты убог.

Конечно, голова

В почтенье меньше ног.

Прошло 254 года. И — ничего не изменилось!

24.09.13.

Три дня назад брал билеты на самолет Москва — Цюрих и обратно. Кассир так предупредительно



разъясняла все нюансы, что мне ничего уточнять и не приходилось: аэропорт, терминал, время вылета и посадки, цена эконом-класса (24 000 р.), бизнес-класса (37 000 р.)...

Я не столь богат, чтобы переплачивать 14 тысяч за полет в одном и том же самолете, и потому заказал эконом-класс. Кассир сообщила: «Билеты эконом-класса согласно статье 108 Воздушного кодекса невозвратны». (То есть, если по субъективным и даже объективным причинам (например, не выдали визу) мой полет отменяется, стоимость билета мне не вернут).

Я решил уточнить:

— А бизнес-класс?

— Бизнес-класс возвращен даже без штрафных санкций...

Пример простой и красноречиво наглядный относительно государственных приоритетов. Казалось бы, если не возвращать деньги, — то всем категориям граждан. Нет же! Зачем обижать богатых? Им следует вернуть! А те, что попроще и беднее — не убудет! Пусть учатся легко прощаться с деньгами!..

9.05.16.

Идет третья неделя, как я нахожусь в Швейцарии. Сажу за столом перед окном, выходящим на зеленые Альпы, работаю над переводом пьесы Мухадина Дагужиева и в очередной раз ловлю себя на мысли, что всё здесь иное, не похожее на то, к чему мы привыкли в России. Даже горы — и те другие. Но вот где-то поблизости закаркал ворон, и его грубый, тревожно-гортанный крик диссонирует с тихим солнечным днем, расстелившимся



перед глазами пейзажем: залитые неярким светом скошенные, но все еще зеленые луга, верхушки ближайшего леса, через который петляющая дорога ведет в Хинвиль, рассыпанные у подошвы горы Бахтель домики с белыми стенами и красной черепицей, а еще дальше, за хвойными деревьями, виднеется слегка затуманенная зеркальная полоска Цюрихского озера, а за ней — скучившиеся на той стороне пологого берега все те же красно-белые уютные домики, за которыми возвышаются уже сами Альпы: сначала светло-зеленая гряда ближних гор; за ними — скрытые по самые плечи первым рядом горы второй гряды, возносящие к небу свои острые вершины, из-за легкой пелены тумана обретающие светло-серую окраску... В ясные утренние или вечерние часы за ними выглядывают снежные склоны еще более высоких гор, но сейчас день уже разыгрался, и они скрыты сплошной белой завесой облаков, растянувшейся вдоль всей линии горизонта...

Тихо вокруг. В иные часы бывает так тихо, что Дом переводчиков кажется необитаемым. И тишину эту не нарушают ни легкий посвист орлов, ни позвякивание колокольцев на шеях коров, пасущихся неподалеку: они удивительным образом сливаются и гармонируют с ней.

И вот на фоне этого безмятежного безмолвия и умиротворяющего альпийского пейзажа громко вдруг раздается совершенно неуместный хриплый карк ворона. И это единственное, что напоминает Родину.

Вороны и здесь кричат точно так же, как и у нас дома...

17.08.16.



Цыганка

Вчера возвращался из Пятигорска в Ставрополь. Микроавтобус заехал на автостанцию в Минводы и остановился на несколько минут. День был жаркий, и я вышел из салона, стал в тени соседнего автобуса, а крупного телосложения старик-попутчик пошел и присел на скамейку под навесом. На соседней скамейке располагались трое мужчин скучающего вида — таксисты. Перед ними спиной ко мне стояла молодая тоненькая женщина в приятной для глаза насыщенно-оранжевой кофте и такого же цвета юбке, доходящей до самых пяток. По этой детали я определил, что она цыганка. Но, увидев рядом с ней двух мальчиков и девочку, я даже засомневался в своих предположениях, настолько были они чистенькие, опрятненькие, не шаловливые. Мальчики — в темных брючках и белых рубашечках навыпуск, а девочка — в синеньком платьице с белыми крапинками. Видно было, что они погодки, а старшему из них — не более пяти лет.

В какой-то момент я услышал гневный голос деда из нашего автобуса. Не утруждая себя литературными изысками, он обрушивал на головы мужчин слова негодования, среди которых явственно прозвучало и яростное: «Собаки!» Один из таксистов, видимо, чтобы не выслушивать ругань, встал и неспешным шагом направился за угол здания.

Выглянув за нос автобуса, в тени которого прохлаждался, я заметил плачущую цыганку. Подойдя к ней, я попытался выяснить, что произошло. Она молчала и то и дело тыльными сторонами ладоней утирала льющие слезы. Только



после того, как я в третий раз повторил свой вопрос, она сказала, что таксисты отказываются возить ее в аэропорт за двести рублей, а больше у нее нет, а она опаздывает на самолет.

Я пошел за скрывшимся за углом таксистом. Он стоял мирно, упираясь задом в капот машины.

— Сколько до аэропорта? — спросил я.

— Ты за цыган? — догадался он.

— Да.

— Я их не повезу.

— Почему?

— У меня нет детских кресел, а там у въезда менты стоят, десять штук сдерут... Такие законы, что я сделаю?

Он говорил очень спокойно, без всякого возмущения, но и без всякого сочувствия к цыганке, застрявшей на автостанции с тремя детьми. Мне не просто было жалко их, невыносимо было то, что унижение матери происходило на глазах детей.

Я повернулся и пошел на все еще негодующий голос старика, отчитывавшего оставшихся таксистов, как нашкодивших школьников. Те в долгу не оставались:

— Здесь же нет людей! Одни собаки!.. — запальчиво огрызнулся один из них. — Сначала обзывается, а потом требует отвезти!.. Знаешь, сколько проклятий я выслушал на своем веку?!.

Из автостанции вышел полицейский, довольно молодой, но уже с выпирающим животом. Другого, спокойно склонившегося над столом внутри помещения, я видел через панорамное остекление. Они были совершенно безучастны, им не было никакого дела до разыгрывающейся драмы. Я подошел к первому и попросил помочь цыганке.



— Да она уже такси вызывает, — показал он движением подбородка на раскрытые двери. Я глянул и заметил в зале яркое одеяние. Тут же показался и наш водитель, смуглый, высокий, симпатичный. Аэропорт находился в трех — четырех километрах как раз по пути в Ставрополь: от трассы — метров 500 вправо.

— Вы можете их завезти? — обратился я к нему.

Тот даже плечами не повел, даже голову в мою сторону не повернул, сказал просто, как говорят про себя: «Зачем мне это нужно?», — и двинулся к машине, открыл переднюю левую дверь, уселся на свое место. Я пошел за ним, придержал дверцу до того, как он ее захлопнул и попросил:

— Подбросьте, пожалуйста. Я заплачу, сколько скажете.

— Пускай садятся, — безразлично обронил он.

Я вошел в автостанцию. Цыганка объяснялась с женщиной, торговавшей в церковной лавке, и было не похоже, чтобы она вызывала такси.

— Пойдемте, — обратился я к ней.

Она стояла неподвижно и смотрела на меня.

— Пойдемте, — повторил я и сделал приглашающее движение рукой. Она тронулась. На улице я взял черные пакеты с вещами по одной в каждую руку, старший цыганенок, интуитивно почувствовавший положительный исход, подхватил третий, и мы направились к микроавтобусу. Но тут на пути оказалась билетный контролер, миловидная девушка 23—25 лет:

— Куда?

— Мы завезем их по пути.

— Куда завезете? У нас нет такого остановочного пункта.

— Мы просто завезем их в аэропорт.



— Да тут камеры кругом! Вон такси. Пусть садятся и едут!

— Поехали, — промямлил водитель, равнодушно наблюдавший за нашей суетой.

— Не задерживайте рейс! — раздраженно бросила женщина-попутчица из открытой двери газели.

— Вызовите ей социальное такси! — все не унимался воинственный старик. — Если не отправите, — я губернатору позвоню!..

— Садитесь. Отъезжаем, — тем же бесцветным голосом снова обратился к нам водитель.

Я был обескуражен: в современном городе с его развитой инфраструктурой, с половодьем автомобилей молодая цыганка с детьми не могла попасть в аэропорт, до которого было рукой подать.

Я вернул пакеты на место, виновато глянул в лицо плачущей женщины, извинился, протянул тысячную купюру. Она взяла, но не сразу. И, когда мы отъезжали, я видел из окна, как девушка-контролер рукой показывала ей месторасположение такси за пределами территории автостанции. Я знал, что никто ее не отвезет по той причине, который мне объяснил первый таксист. А мы не могли подбросить ее потому, что наш маршрутный лист не предполагал остановки возле аэропорта. Все законно. Но до чего абсурдно! И страдал при этом живой человек с тремя маленькими детьми. И никого не волновали такие понятия, как человечность, помощь ближнему своему.

...Доехали мы благополучно. Я бы даже сказал — с ветерком. И всю дорогу неотступно стояла перед глазами плачущая от бессилия цыганка, смущая душу мою, будто провинился я, не все сделал из того, что должен был в этой ситуации. Ощущение



вины не покидало и дома, и, чтобы облегчить душу, вечером пересказал жене всю сцену. И вот уже утро следующего дня, а мне все неуютно и тягостно от бессердечности людей, может быть и не плохих в основе своей, но в которых напрочь отсутствует то, что всегда выделяло русских людей: умение сострадать.

Водитель наш тоже никакого дискомфорта не испытывал: только мы выехали из Минвод, он по телефону сообщал кому-то о том, как двое мужиков пытались подписаться за цыганку. Я видел в зеркало его довольное лицо, снисходительную ухмылку. По пути – вне всяких остановочных пунктов – он подобрал еще одного пассажира, молодого парня, и дополнительно заработал на нем еще две сотни. Никуда не сворачивая. Ничем не тяготясь. В том числе – и совестью.

Ая, дурак, все никак не могу угомониться. И, как самой человечной из всех инстанций, вверяю грусть и неизбывную печаль свою бумаге...

18.05.18.

Недавно взял томик рассказов Моэма и выборочно познакомился с некоторыми из них.

«Мэйхью» — новелла о преуспевающем адвокате в Детройте, стоявшем на пороге великолепной карьеры. Но неожиданно он купил дом на Капри, переехал в него и... увлекся историей. 14 лет беспрестанной работы, исписал тысячи карточек, сортировал их и классифицировал. Наконец, когда подготовительный этап был завершен, он сел за стол, чтобы начать писать свой труд. И умер.

Рассказ завершается так: «Он прожил счастливую жизнь. Картина ее прекрасна и закончена. Он сделал то, что хотел, и умер, когда желанный берег



был уже близок, так и не изведав горечи достигнутой цели».

По-моему, рассказ ради этой последней парадоксальной мысли и написан. Эффектно, конечно. Хорошо завернул. Bravo! И жизнь человека оценена объективно: прожил счастливо, потому что умел делать то, что хотел...

Все, что прочитывается, так или иначе соотносишь с собой.

В моей жизни было достаточно горечи. Но, отмечая мелочи, я тоже могу сказать о себе словами Моэма: был счастлив потому, что всю жизнь занимался тем, что любил и умел. Но в отличие от литературного героя кое-какие плоды своего труда я увидел при жизни, понянчил в руках и собственноручно поставил на полку. Я счастлив тем, что в какой-то мере реализовал тот скромный потенциал, который был мне отпущен. И это гораздо большее счастье, чем счастье «не изведать горечи достигнутой цели».

Моэм воспользовался эффектным приемом, построенном на парадоксе в стиле Уайльда. В литературном смысле он — хорош. Но с житейской точки зрения оказывается пустышкой: фраза бессодержательна, ибо не может заключать в себе счастье то, что не реализовано. Изящный стилистический флер, в конечном счете, оборачивается логическим обманом.

22.11.17.



Там, где светло и просто

У печки бабушка хлопочет,
а над огнем котёл лопочет,
и льется сизо-красный свет.
Скрипит рассохшийся буфет.

А дед, усевшись на кровати,
сбивает кадку молотком.
Ленивый, старый кот кудлатый
у ног моих лежит клубком.

А за окном бело, морозно;
блестит алмазная парча.
Как было мне светло и просто,
когда, проснувшись в ранний час,
я видел бабушку у печки
и слышал дедов молоток
под бой часов — такой беспечный,
под милый мамин говорок...

Отрезвление

Ни упрёков — какие упрёки?
Ни обид — таковым несть числа.
Но серьёзные жизни уроки
Я извлёк, как из тайн ремесла,
из ошибок, терзаний, страданий,
неудач и несделанных дел,
из безденежья, бурных метаний,
трудных тем...
Но ведь есть же предел!



**СТАНИСЛАВ
КАСПЕРСКИЙ**

Поэзия





И тогда охватили сомненья:
так ли жил? Да и так ли живу?
И подумалось: вот отрезвление.
И склонил тяжело я главу.

Связь времен

Каждый Божий день и каждый час
клеточкою каждой и кровинкой
я свою с Россией чую связь
и со всякою ее былинкой.
Мой крестьянский ярославский род,
Лапотный, не знающий достатка,
рук не опускал и в недород,
Бога не гневил, хоть жизнь не сладкой,
а нелегкою всегда была.
Закусив, как вороны, удила
отдавался пашне без остатка;
ровно первенца, ее лелеял,
лен растил, и рожь веками сеял.
Но сменилась в лихолетье власть,
Покуражилась над смердом всласть,
Лозунгами в пекло затащила,
Там его, сермяжного, крутила,
От земли пока не отучила...

Каждый Божий день и каждый час
я свою с Россией чую связь.

Редакция альманаха сердечно поздравляет талантливое ставропольского поэта, нашего постоянного автора Станислава Шакировича Касперского с восьмидесятилетним юбилеем! Желаем ему крепости телесной и духовной, новых поэтических открытий, добрых встреч, оптимизма и счастья!



В атаку с сестрой

О героическом подвиге сестры милосердия 105-го пехотного Оренбургского полка Риммы Ивановой, совершённом ею 9 (22) сентября 1915 года близ деревни Мокрая Дуброва под Пинском, русский художник Илья Репин узнал из «газетных передовиц».

В тот день русские солдаты, увидев, что командир 10-й роты и офицер убиты, вышли из строя и унтер-офицеры, а подразделение осталось без командного состава, дрогнули и начали отступать. Римма, организовавшая перевязочный пункт непосредственно на передовой линии, не могла и в мыслях допустить, что враг ворвётся в окопы и штыками прикончит незащитных, беспомощных раненых. Девушка с красным крестом на груди и санитарной сумкой на боку поднялась из окопа и с криком «Солдаты, за мной!» повела в атаку оставшихся в живых солдат. Солдаты, бежавшие с позиций, остановились и повернули на запад. Обогнав Римму, они бежали впереди и прикрывали её своими телами. В атаку поднялись и соседние 9-я и 11-я роты. Рванули вперёд и раненые солдаты,



**НИКОЛАЙ
БЛОХИН**

Краеведение





которые могли держать винтовку в руках. Атака русских солдат была настолько стремительной, что враг, не ожидавший такого напора, начал отступать и оставил первую линию укреплений. Русские солдаты продолжали наступление и, не дав опомниться врагу, взяли вторую линию укреплений. Но саму Римму в этот момент ранило осколком снаряда в живот выше бедра. «Сестричку убило!» – этот крик вызвал у русских солдат ещё большую озлобленность. Они набросились на врага и захватили третью линию укреплений. Санитары, перевязав Римму, быстро понесли её в перевязочный пункт. По пути девушка скончалась, успев прошептать: «Господи, спаси Россию». Подвиг «ставропольской девы», как окрестили Римму Иванову корреспонденты газет и журналов того времени, потряс всю Россию.

I

Родилась Римма Михайловна Иванова 15 (27) июня 1894 года в Ставрополе. Восьми лет, в 1902 году, Римма поступила в Ольгинскую женскую гимназию.

По рассказам современников, Римма была в числе лучших учениц класса. Но по-настоящему она отличалась от своих сверстниц не этим. Одноклассницы любили её за весёлый, общительный характер и отвагу. Вспоминали о происшествии, которое поразило весь город. За несколько дней до окончания гимназии учащаяся молодёжь Ставрополя гуляла около озера в Архиерейском лесу. Римма в нарядном белом платье и модных туфельках тоже пришла к озеру. На мостках, устроенных для ныряния, один молодой человек неожиданно поскользнулся, упал в воду и стал тонуть. Вокруг было много людей, всех охватила паника. Не растерялась только Римма. Она бросилась в воду в своём белом платье и модных туфельках и на глазах изумлённой публики спасла утопающего. Так впервые в жизни



Римма спасла человека. А сколько раз потом на глазах однополчан она вытаскивала с поля боя раненых солдат, прапорщиков. Но сначала под свист пуль перевязывала им раны.

После окончания гимназии Римма отправилась в 9-ю земскую школу села Петровского Благодаринского уезда. Учительствовала она недолго: всего один учебный год. Но отзывы о ней, о её работе были самые наилучшие – и от родителей учеников, и от Благодаринского уездного земства. Девушка мечтала поехать в Москву и поступить учиться на экономическое отделение Московского коммерческого института. Брат Володя связывал будущее сестрёнки с медициной, считал, что Римма могла бы стать хорошим хирургом.

Но учиться не пришлось. Началась война.

В Ставрополь приходили тревожные вести. В те дни Римма прочитала в газетах Высочайший манифест об объявлении состояния войны России с Австро-Венгрией, подписанный императором Николаем II. Вся Россия была охвачена высоким патриотическим подъёмом. По городам России, в том числе и в Ставрополе, прошли манифестации в поддержку сербских славян и армии.

Однажды, возвратившись с манифестации, Римма заявила родителям, что решила записаться в действующую армию сестрой милосердия и идти на фронт. Уговоры родителей о том, что у неё нет медицинского образования, не действовали на неё. Спор Риммы с родителями разрешился сам собой: на Всероссийском съезде председателей земских управ был создан Всероссийский земский союз по лечению больных и раненых воинов. Император Николай II поддержал решение земского союза о повсеместной организации и оборудовании госпиталей.

В те же июльские дни в Ставрополе создан губернский земский комитет помощи больным и ране-



ным воинам.

Но была и другая проблема: для обслуживания заявленных койко-мест в госпиталях нужен был младший медицинский персонал. Его явно не хватало. 24 июля (5 августа) город облетела новость: Ставропольская городская земская управа и губернское управление общества Красного креста открывают краткосрочные курсы по подготовке сестёр милосердия. На курсы записался 81 человек, из которых было организовано две группы. Римма в числе первых слушательниц. 29 июля (10 августа) – первый день занятий, которые вели ведущие врачи Ставрополя. Занимались по 10–12 часов в день. Это был первый серьёзный урок для Риммы Ивановой: брать по максимуму всё из того, чему учили преподаватели. На занятиях курсистки изучали анатомию и физиологию человека, правила ухода за больными, аптечное дело, разбирали учение о повязках. Квалифицированные врачи-практики читали лекции по хирургии, внутренним, заразным, нервным и душевным болезням. На практические занятия курсисток водили в больницы, военный госпиталь. Их готовили в первую очередь для работы в госпиталях Ставрополя и губернии, а не для фронта.

А тем временем из Ставрополя на фронт отправился Осетинский конный дивизион. Следом ушёл и 83-й пехотный Самурский полк, который, как потом рассказывали очевидцы, вступил в бой под Ивангородом прямо с колёс.

27 августа (8 сентября) 1914 года в Ставрополе в епархиальном училище открыли первый госпиталь. И в город пришёл первый поезд с ранеными. Начались рабочие будни: обходы врача, назначения, перевязки, ассистирование, дежурства. В ноябре привезли раненых из 83-го пехотного Самурского полка. Римма слушала их рассказы о войне и думала о том, что её место на фронте, что там она будет полезнее. В этом убеждали письма от выздоровев-



ших раненых, которые приходили в Ставрополь на имя сестры милосердия Риммы Ивановой..

Шёл третий месяц войны. В войну с Россией вступила Турция, и в Ставрополь стали привозить раненых с Кавказского фронта. Римма сутками дежурила в госпитале, но все думы были о солдатах 83-го пехотного Самурского полка. Римма, несмотря на уговоры родителей, уехала на фронт в январе 1915 года, после формирования в Ставрополе отряда сестёр милосердия, под своим именем. «Утверждения некоторых авторов о том, что в Самурском полку длительное время не знали, что Римма — женщина, несостоятельны, — писал доктор исторических наук Н.Д. Судащев. — Видимо, исходят из того, что вначале в полку она числилась под именем «Римма Михайлович Иванов». А раскрыли, что это женщина, после того, как настояли снять во время богослужения шапку. А когда она её сняла, то по плечам рассыпались длинные волосы. Все были удивлены. Таким образом, якобы было раскрыто её пребывание в полку инкогнито. На самом деле всё было иначе.

Согласно приказу принца Ольденбургского об отборе сестёр милосердия и направления их в войска, она ехала в полк официально и в женской одежде. Поэтому уже в первый же день по приезду сестру милосердия – добровольца Римму Михайловну Иванову принял командир полка полковник К.А. Стефанович».

II

Родители были очень обеспокоены судьбой дочери, уговаривали её в письмах вернуться домой. Римма писала им с фронта и, как могла, успокаивала их. «Беспокоиться обо мне нечего, – писала Римма в январе 1915 года. – Я – вне опасности. Наш полковой околоток, где я сейчас несу обязанности, находится всегда за линией огня... К солдатскому костюму и коротким волосам я уже привыкла... Доехала благо-



получно. Немного переволновалась. Принял меня командир полка очень хорошо. «Коль есть охота, так, пожалуйста, работайте», – вот его слова. Доктор доволен моей работой и теперь всё настаивает, чтобы я ехала учиться после войны в медицинский институт...» Командовал полком в те тяжелые дни 37-летний полковник Казимир Альбинович Стефанович – выпускник Санкт-Петербургской военной прогимназии и Виленского пехотного юнкерского училища. Командиром 83-го пехотного Самурского полка стал в феврале 1912 года. Отмечая воинские заслуги Риммы Ивановой, командир полка Казимир Стефанович писал в донесении: «Неустанно, не покладая рук, работала она на самых передовых перевязочных пунктах, находясь всегда под губительным... огнём противника, и, без сомнения, ею руководило одно горячее желание – придти на помощь раненым защитникам Царя и Родины. Молитвы многих раненых несутся за её здоровье к Всевышнему».

В письмах Риммы родителям совершенно иной тон: ни слова о героических буднях и опасностях. В феврале 1915 года она пишет в Ставрополь: «Несу обязанности фельдшера. Моё дело перевязка — и больше ничего. Правда, перевязочный пункт находится недалеко от позиции, но всегда в безопасности — в прикрытом месте. На меня не смотрят здесь, как на женщину, а видят сестру милосердия, заслуживающую большого уважения. Вчера мне было объявлено исполняющим временно командующего полком, что я буду представлена за дела 23-25 февраля к Георгиевской медали на Георгиевской ленте. Только ради бога, никому ни слова. Обед у нас и солдатский очень вкусный... О тепле. — Располагаемся в крестьянских избушках. О переходах. Умею и люблю много ходить... Вернусь к вам здоровая и удовлетворённая. Ведь как приятно сознавать, что в этом большом деле приносишь пользу. Молюсь Богу, чтобы он сохранил моё



здоровье. Опасность далеко от меня, её нет». – это выдержка из февральского письма Риммы родителям.

В мартовском письме Римма попыталась объяснить родителям свой поступок: «Причины моего поступления в армию. Вот вам фраза солдатака: «Мы на нашу сестрицу надеемся, дай Бог ей здоровья, чтобы она с нами была». А почему? Потому что здесь нужны руки, что здесь нужна скорая помощь. О ласке сестры. А думаете, что здесь она не необходима? Ещё как! Пожалуй, ещё больше, чем в госпитале! В день приходит 120-130 человек в околоток. Не надо просить меня уйти. Не каприз же меня утнал сюда и здесь держит, что бы можно было просить меня уйти отсюда. Мне тяжело, что я принесла вам страдание. Но, милые мои, я не подвергаюсь опасности. Приду к вам здоровой и довольной. Почему вы хотите отнять у меня многое и многое! Если вы вернёте меня домой, то этим принесёте мне большое лишение. Советую вам почаще поглядывать на тех, у которых близкие сидят в окопах с винтовками... Сейчас сижу в халупке в три окна, в комнатах стоят кровати. За столом сидят доктора и батюшка, играют в преферанс. Скоро закусим и ляжем спать...»

Из другого письма: «Господи, как хотелось бы, чтобы вы поуспокоились. Да пора бы уже. Вы должны радоваться, если любите меня, что мне удалось устроиться и работать там, где я хотела... Но ведь не для шутки это я сделала и не для собственного удовольствия, а для того, чтобы помочь. Да дайте же мне быть истинной сестрой милосердия. Дайте мне делать то, что хорошо и что нужно делать. Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое-многое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают кровь. Но вы не беспокойтесь: наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу... Мои хорошие! Не беспокойтесь ради бога!



Если любите меня, то старайтесь делать так, как мне лучше, а ведь мне лучше так, как я хочу. Если желаете сделать своей дочери добро и счастливой, хоть более или менее, то молитесь богу, чтобы исполнилось моё желание. Вот это и будет тогда истинная любовь ко мне. Жизнь вообще коротка, и надо прожить её как можно полнее и лучше. Помогите, Господи! Молитесь за Россию и человечество».

И в последующих письмах Римма, как могла, берегла родителей. Единственное, чего она не могла, – это писать им о том, как «Самурский полк с дивизионом артиллерии, заняв позицию у деревни Эарковице, в течение двух дней отбивал настойчивые повторные атаки превосходящих сил противника, и удержал позицию за собой». Римма была любимицей солдат и офицеров полка. К ней относились как к сестре. И берегли её. Высоко ценили её способности. Особенно восхищали сослуживцев её смелость и отвага. Девушка появлялась в самых опасных местах, первой приходила на помощь раненым солдатам. Она была для них вроде Ангела Хранителя. Однополчане вспоминали, как в боях с австро-венгерскими и германскими войсками в Карпатах Римма вынесла с поля боя раненого прапорщика Гаврилова. За его спасение Римма получила свою первую боевую награду – Георгиевскую медаль 4-й степени. Георгиевской медалью 3-й степени командование наградило Римму за спасение раненого прапорщика Соколова. Георгиевской медалью 2-й степени Римма была награждена за восстановление повреждённой линии связи. Всех этих наград девушка была удостоена за несколько месяцев воинской службы.

Полковник К.А. Стефанович в телеграмме командиру бригады писал: «...Сестра милосердия Римма Михайловна Иванова, в форме солдата-санитара, совершила с 83 Самурским пехотным полком тяжёлый отступательный марш с боями от самых Карпат,



находясь всё время в первых ротах, самоотверженно, неустрашимо работая под огнём, за что была награждена тремя георгиевскими медалями. По своём прибытии в 105 полк сестра милосердия Иванова сразу с первых боёв выказала чудеса храбрости. Ни просьбы брата-врача, ни мои, ни офицеров полка побережь себя никакого не имели успеха. Каждый бой сестра Иванова уходила с передового перевязочного пункта в передовую линию боя...» Но родители Риммы о ежедневных подвигах дочери ничего не знали.

III

В июне Римме исполнился 21 год. Командование представило ей краткосрочный отпуск. В августе 1915 года Римма приехала в Ставрополь проведать тяжело заболевшего отца. При встрече с отцом Римма дала ему слово, что переведётся в 105-й пехотный Оренбургский полк, где полковым врачом служил её старший брат Владимир Михайлович Иванов. Последние письма родителям Римма написала с нового места службы: «Мои хорошие, милые мамуся и папка! Здесь хорошо мне. Люди здесь очень хорошие. Ко мне все относятся приветливо... Дай вам Господи здоровья. И ради нашего счастья не унывайте». Оренбуржцы также, как и самурцы, полюбили новую сестру милосердия, называли ее «святой Риммой».

8 сентября 1915 года Римма отправила родителям последнюю весточку от себя и от брата: «Чувствуем себя хорошо! Сейчас спокойно. Не беспокойтесь, мои родные. Целуем. Римма. 8.IX.15». А на следующий день 9 (22) сентября 1915 года у села Мокрая Дуброва разгорелся ожесточённый бой. Немцы обрушили на передовые позиции 105-го пехотного Оренбургского полка шквальный огонь артиллерии. После артиллерийского обстрела пехота противника пошла в атаку.



На глазах сослуживцев под пулями противника погибали солдаты, убиты два офицера... Девушка едва успевала перевязывать раненых. На какое-то время российские солдаты, оставшись без командиров, дрогнули. С криком «Солдаты, за мной!» Римма бросилась в атаку. За сестрой милосердия бежали все, кто способен был держать винтовку в руках. Враг был отброшен. Русские ворвались в окопы противника. Но радость солдат была омрачена: смертельно ранена их медицинская сестричка.

О подвиге отважной девушки писали не только российские газеты и журналы. Публикации о ней появились в английских, немецких газетах. Германские газеты, в частности, опубликовали проест председателя Кайзеровского медицинского Красного Креста генерала Пфюля, который, ссылаясь на Конвенцию о нейтралитете медицинского персонала, заявил, что «сёстрам милосердия не подобает на поле боя совершать подвиги». «Решительный протест» генерала рассматривали даже в штабквартире Международного комитета Красного Креста в Женеве.

Солдаты и офицеры 105-го пехотного Оренбургского полка оплакивали гибель Риммы Михайловны Ивановой. По обряду её отпели в церкви села Доброславка близ Пинска, а гроб с телом отправили на родину в Ставрополь. Сопровождал гроб полковой врач Владимир Михайлович Иванов, брат Риммы. Он же составил и медицинское заключение о её смерти: «Сестра Римма убита в 9 часов вечера по взятии 3-й группы немецких окопов. Ранена в верхние части бедра с правого бока, с внутренней стороны, причём раздроблены кости и разнесены мускулы. Санитары принесли тело к церкви селения Доброславки и здесь было омыто её истерзанное тело, одето в форменное платье с красным крестом на груди и руке, и положено в гроб».



О подвиге отважной сестры милосердия доложили командиру 31-го армейского корпуса генералу Мищенко. В ответной телефонограмме он писал: «Почту долгом ходатайствовать об награждении памяти ея орденом св. Георгия 4-й степени». Командир корпуса, командующий 3-й армией и командующий Юго-Западным фронтом поддержали ходатайство 105-го Оренбургского пехотного полка о награждении Риммы Михайловны Ивановой орденом св. Георгия 4-й степени. О об этом событии на фронте доложили императору. Ходатайство военных о награждении сестры милосердия Р.М. Ивановой поставило императора в затруднительное положение. Римма не была ни офицером, ни из дворянского рода, не имела воинского звания. Она числилась добровольцем. Но «командир полка приравнял... сестру милосердия Р.М. Иванову к офицеру, ведущему роту в атаку», — писал доктор исторических наук Н.Д. Судащев.

И тем не менее, Николай II сделал исключение из правил о статуте ордена: 17 (30) сентября 1915 года он подписал именной Указ о награждении сестры милосердия Риммы (в Указе она ошибочно названа Миррой. — Н.Б.) Михайловны Ивановой орденом св. Великомученика и Победоносца Георгия IV степени.

22 сентября (5 октября) 1915 года на имя губернатора Ставропольской губернии Б.М. Янушевича из действующей армии пришла телеграмма: «Государь Император 17 сентября соизволил почтить память покойной сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой орденом Святого Георгия 4-й степени. Сестра Иванова, невзирая на уговоры полкового врача, офицеров и солдат, всегда перевязывала раненых на передовой линии под страшным огнём, а 9 сентября, когда были убиты оба офицера 10-й роты 105-го Оренбургского полка, собрала к себе солдат и, бросившись вперёд вместе с ними, взяла неприяте-



льские окопы. Здесь она была смертельно ранена и скончалась, оплакиваемая офицерами и солдатами... Корпус с глубоким огорчением и соболезнованием свидетельствует уважение семье покойной, вырастившей героиню — сестру милосердия. О чём прошу сообщить родителям и родным, жительствоующим на ул. Лермонтовская, 28. Командир 31-го армейского корпуса генерал-адъютант Мищенко».

Известие о гибели Риммы Ивановой потрясло небольшой Ставрополь. В городе в те годы проживало около пятидесяти тысяч жителей. И все практически знали друг друга. В дом по Лермонтовской, где жили родители, шли письма и телеграммы со всех концов России. На похороны Риммы Ивановой, как писали газеты того времени, вышел весь Ставрополь. Во главе похоронной процессии шли Ставропольский губернатор Бронислав Янушевич, пресвящённый епископ Александровский Михаил, духовенство, представители городской Думы, местного дворянства. Процессия прошла от железнодорожного вокзала по Николаевскому проспекту, затем, свернув на Воронцовскую улицу, мимо Ольгинской женской гимназии, где гроб с телом Риммы Ивановой встретили гимназистки и преподаватели. Затем процессия прошла по Романовской (ныне улица Ленина) мимо 1-й мужской гимназии. Траурная процессия сделала остановку на Лермонтовской улице напротив дома, где жили родители Риммы Ивановой. И наконец, гроб внесли в Андреевскую церковь. Как писала газета «Северо-Кавказский край», «редкое, небывалое в Ставрополе торжество представляла собою процессия перенесения праха девушки-героини, Риммы Михайловны Ивановой, со станции Ставрополь в Андреевский храм, где уже уготовано ей место последнего упокоения... Шествие тронулось от вокзала в 8 ½ часов утра и гроб внесён был в Андреевский храм в 12¼ часов дня». Божественная литургия по Римме Ивановой



была завершена в половине третьего пополудни. А на следующий день под оружейный салют её похоронили на территории Андреевского подворья.

IV

Известие о подвиге Риммы Ивановой застало Илью Репина под Петроградом, в усадьбе «Пенаты», как окрестил её художник в честь римских богов-хранителей домашнего очага. Сюда, в «Пенаты», съезжались на знаменитые «репинские среды» известные российские писатели, художники, композиторы. Они же привозили свежие газеты и журналы. Репин был в курсе новостей с фронта.

Однажды к Репину приехал популярный журналист и писатель Владимир Гиляровский. В беседе с художником он рассказал о готовящемся к изданию его поэтическом сборнике, посвящённом событиям войны. И попросил Илью Ефимовича поучаствовать в оформлении книги. Репин, как утверждают некоторые исследователи, согласился не раздумывая. Правда, письма Ильи Репина Владимиру Гиляровскому говорят об определённых сомнениях художника. Так, в письме Владимиру Алексеевичу от 13 ноября 1915 года художник пишет: «Хоть убейте, не способен иллюстрировать». А в следующем письме от 22 ноября 1915 года художник выражает своё согласие поучаствовать в издании. Вскоре Репин прислал Гиляровскому акварельный рисунок «Сестра — в атаку».

Автор книги «Гиляровский и художники» Е.Г. Киселёва так описывала сюжет акварели Ильи Репина: «На врага в атаку ведёт солдат сестра милосердия. Она держит в руках винтовку со штыком, изпод белой развевающейся косынки выбились чёрные пряди волос. Лицо её возбуждено, полуобернувшись к солдатам, она призывает их к наступлению». Добавим к этому описанию важную деталь, о кото-



рой не упоминается в книге Е.Г. Киселёвой: на левом рукаве Риммы Ивановой хорошо видна белая повязка с красным крестом.

Книга Владимира Гиляровского «Грозный год» издана в Москве в 1916 году. Каждое стихотворение В. Гиляровского сопровождали рисунки художников того времени А. Архипова, В. Бакшеева, А. Васнецова, С. Виноградова, А. Корина, К. Коровина, О. Малютина, С. Малютина, В. Нестерова, В. Переплётчикова, В. Поленова, А. Степанова, А. Щусева. Акварель Ильи Репина «Сестра — в атаку» опубликована вместе со стихотворением Владимира Гиляровского «Великая годовщина». Но написано оно ещё до подвига Риммы Ивановой:

Сегодня — год войны жестокой,
Досель неслыханной войны,
Из бездны дремлющей, глубокой,
Поднявшей мощь родной страны.

Те силы грозные, что спали,
Таясь в народной глубине,
Неудержимые восстали,
Подобно яростной волне.

По воспоминаниям современников Ильи Репина, акварель «Сестра — в атаку», написанная по просьбе Владимира Гиляровского, не устроила художника. Специально для 44-й выставки Товарищества передвижных художественных выставок, которая открылась на Большой Никитской в Москве в декабре 1915 года, а затем в январе 1916 года переехала в Петроград, Илья Репин написал на холсте другой вариант картины. Сильно изменив композицию, художник дал картине и новое название «В атаку с сестрой». «Мне довелось жить и учиться у Ильи Ефимовича Репина в Пенатах, в Куоккала, в период с



1915 по 1918 г. (с перерывом 1917 г.)... В описываемый период Репин работал над картинами на современные темы Первой мировой войны. К моему приезду на мольберте в процессе работы была картина «Бельгийской король Альберт». Зимой 1915/16 г. И.Е. написал картину «Сестра Иванова ведёт солдат в атаку». Для этой картины я приглашал к нам в мастерскую позировать солдат из взвода охраны железной дороги на станции Куоккала», — вспоминал спустя годы ректор Харьковского художественного института Антон Михайлович Комашка, один из учеников Ильи Репина.

Ещё одно свидетельство работы Ильи Репина над картиной о подвиге Риммы Ивановой хранится непосредственно в Музее-усадьбе «Пенаты». Это этюд «Два солдата», на который обращают внимание посетителей научные сотрудники музея.

Сюжет довольно простой: одетые в серые шинели солдаты, один из них держит винтовку с прикинутым штыком, второй, полуобернувшись, бежит за ним. Этот этюд, как рассказывают научные сотрудники, никогда не покидал усадьбу «Пенаты» и нигде не публиковался. Интересные суждения об истории создания картины «В атаку с сестрой» оставила научный сотрудник Музея-усадьбы «Пенаты» Е.В. Кириллина. В статье «И.Е. Репин. Другая жизнь (Куокалла 1917—1930)» Елена Владимировна писала, что к основному, главному полотну «...была написана серия неплохих этюдов, но само полотно слишком однозначно. Даже всегдашний репинский психологизм подменён почти истерической экзальтацией, и это производит неприятное впечатление». По итогам 44-й выставки Товарищества передвижных художественных выставок его организаторы в том же 1916 году издали иллюстрированный каталог. Есть в этом каталоге и репродукция картины Ильи Репина «В атаку с сестрой», которая вызвала неоднозначную



оценку со стороны критиков. О картине И. Репина критик Н. Радлов во втором номере журнала «Аполлон» за 1916 год писал резко отрицательно, как о работе «пошлой» и «грязно написанной». «Биржевые ведомости» за 21 февраля 1916 года, напротив, поместили статью критика И. Ясинского, оправдывавшего творческий приём Репина: «Разве мало, что картина Репина производит впечатление ужаса перед лицом смерти? Умирают люди и убивают, конечно, не так, как это делается на театральной сцене; им некогда думать о красивой позе; они измучены невероятными трудностями наступления, и обезображены их лица выражением мести и страшной решимости. Согласен – может быть, не картина, а кошмар; но по существу своему она принадлежит к реальнейшим произведениям батального искусства последнего времени». Картина Репину не давалась. Художник и сам понимал это. В книге «Дни моей жизни» Корней Чуковский вспоминал, как 30 апреля 1917 года побывал в гостях у художника: «...Илья Ефимович повёл меня показывать свои картины. Много безвкусицы и дряблого, но не так плохо, как я ожидал. Он сам стыдится своей «сестры, ведущей солдат в атаку», и говорит: «Приезжал ко мне один покупатель, да я его сам отговорил. Говорю ему: дрянь картина, не стоит покупать».

В 1917 году Репин, используя холст и масляные краски, пишет третий вариант картины «В атаку с сестрой». Размер картины другой: 125х250. Илья Ефимович практически полностью переписал ранее созданное произведение. Во время работы над полотном Репин создал ещё один эскиз, изображающий атаку. Эскиз «Атака. Учреждению «Увечным воинам»» выставлялся на обозрение публики в 1925 году в Русском музее, в 1936-м в Третьяковской галерее, в 1989-и и 2006-м в Финляндии. Ныне находится в собрании Ильи Репина в Русском музее



Санкт-Петербурга.

О судьбе ещё шести рисунков к картине «В атаку с сестрой» писал искусствовед, директор Государственной Третьяковской галереи Александр Иванович Замошкин. Его статья «Неизвестные рисунки И.Е. Репина» была опубликована в четвёртом номере журнала «Искусство» в 1949 году: «Некоторые из этих эскизов изображают солдат, бегущих вслед за сестрой милосердия с ружьями наперевес, и солдат, обуянных ужасом». Последний, третий, 1917 года вариант картины «В атаку с сестрой» экспонировался в ноябре 1917 года в Петрограде на юбилейной выставке И.Е. Репина, открытой по случаю 45-летия творческой деятельности художника; в 1919-м в Стокгольме, на выставке работ И.Е. Репина, его сына от первого брака Юрия Ильича Репина и художника Василия Филипповича Леви, организатора пятидесяти выставок Репина в европейских городах; в 1921-м в Нью-Йорке, на персональной выставке И.Е. Репина.

Нам осталось выяснить, с кого Илья Ефимович писал героиню Первой мировой войны Римму Михайловну Иванову. К сожалению, у искусствоведов нет однозначного ответа на этот вопрос. Искусствовед из Ставрополя Станислав Кузнецов, автор статьи «О батальной картине И.Е. Репина», опубликованной в первом номере журнала «Русское искусство» за 2019 год, высказал предположение, что, скорее всего, художник использовал фотографии, публиковавшиеся в газетах и журналах того времени. Фотографию Риммы Ивановой с небольшой аннотацией публиковал в приложении журнал «Новое время». Журнал «Весь мир» одним из первых опубликовал репродукцию картины, на которой неизвестный художник изобразил Римму Иванову в минуты, когда она поднимала солдат в атаку.

Подвигу Риммы Ивановой посвятил два рисунка русский живописец Рудольф Ференц, впоследствии руководитель батальной мастерской Ленинградско-



го института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. «Подвиг юной сестры милосердия Риммы Ивановой» хранится в Военно-медицинском музее Санкт-Петербурга, «Сестра милосердия Иванова» — в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Оба рисунка Рудольф Ференц выполнил в 1915 году на бумаге, используя тушь и перо. Акварельный рисунок художника-баталиста Ивана Владимировича «Подвиг сестры милосердия» опубликован в альбоме «Великая война и революция в картинах. 1914–1917». Альбом издан в Петрограде в 1923 году. К сожалению, эти работы известны лишь узкому кругу историков, искусствоведов и публицистов, пишущих о жизни и подвиге Риммы Ивановой.

До недавнего времени позабыли и о картине И.Е. Репина «В атаку с сестрой». Вспомнили о ней в связи со 100-летием Первой мировой войны. По различным воспоминаниям, до конца тридцатых годов картина «В атаку с сестрой» оставалась в усадьбе «Пенаты». После «...зимней военной кампании за Карельский перешеек, — писала искусствовед Е.В. Кириллина в статье «У Репина в «Пенатах», опубликованной во втором номере журнала «Наука и жизнь» за 2002 год, — «Пенаты» оказались на территории СССР. Делами усадьбы занялась Российская Академия художеств, ставшая правопреемницей Императорской Академии художеств, которой когда-то были завещаны «Пенаты». Но открытый здесь музей уже через год пришлось эвакуировать. Картины и рисунки Репина, предметы обстановки и личные вещи провели в надёжных подвалах старинного здания Академии на Васильевском острове все военные годы и всю блокаду». Но, как оказалось, картины «В атаку с сестрой» среди этих предметов не было, и след её затерялся. В 1951 году директор



Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Академии художеств СССР, ранее работавший директором Государственной Третьяковской галереи, А.И. Замошкин побывал по служебной командировке в Швеции. Зайдя в один из магазинов Стокгольма по продаже произведений живописи, Александр Иванович увидел известную картину И.Е. Репина «В атаку с сестрой». Внимательно осмотрев полотно, А.И. Замошкин выяснил, что датировано оно 1917 годом, а не 1915 годом, как указано в двухтомной монографии И.Э. Грабаря о И.Е. Репине, изданной в Москве в 1937 году. Тогда же, в 1951 году, о своей находке А.И. Замошкин рассказал читателям журнала «Искусство» в статье «Неопубликованные работы русских художников». А.И. Замошкин предположил, что, скорее всего, наследники И.Е. Репина – его сын Юрий и дочь Вера от первого брака, жившие до ноября 1939 года в усадьбе «Пенаты», — вывезли картину в Хельсинки, а затем продали её частному коллекционеру.

Как пишет искусствовед из Ставрополя Станислав Кузнецов, картина выставлялась на аукционах не один раз. Так, в 1994 году владелец картины, пожелавший остаться неизвестным, представил её на аукционе в Женеве, где её купили почти за 130 тысяч долларов. Затем картину выставляли на торги в 2004-м, но её никто не купил. А в 2006 году она пошла с молотка за 120 тысяч долларов. Где сегодня находится картина? Поговаривают, что она может находиться в частном собрании, возможно, в Стокгольме, возможно, в Хельсинки.

Как-то, отвечая на вопрос о значимости той или иной работы художника, И.Е. Репин в письме музыкальному и художественному критику В.В. Стасову утверждал, что «общественное мнение... составляет не скоро и не сразу..., и приблизительно только в 50 лет вырабатывается окончательно приговор



вещи». Похоже, что именно всё так и случилось с картиной И.Е. Репина «В атаку с сестрой». И не только с картиной.

В Ставрополе — на родине Риммы Ивановой — вновь вспомнили о подвиге их землячки. В 1994 году, в 100-летнюю годовщину со дня её рождения, на здании бывшей Ольгинской женской гимназии по проспекту Октябрьской революции установили мемориальную доску, напоминающую о славной дочери города. Рядом, в сквере, установили памятник Римме Ивановой. Таким образом было выполнено решение о его установке, принятое ещё в 1917 году. Историк, профессор Северо-Кавказского федерального университета Николай Дмитриевич Судавцов издал монографию «Римма Иванова — героиня Первой мировой войны». Ссылаясь на архивные документы, автор предельно ясно ответил на многие вопросы, волновавшие общественность Ставрополя: какой подвиг совершила сестра милосердия Римма Иванова, и почему в 1915 году он так взволновал великого художника Илью Репина, взволновал всю Россию.



Счастливым жребий

Снять комнату в Кисловодске оказалось непростым делом.

Извозчик на привокзальной площади, к которому Мамин-Сибиряк обратился с просьбой помочь в поисках жилья, только крутил головой и чесал затылок:

– Трудненько, барин, будет...

Впрочем, новоприбывший на Кислые Воды курортник, несмотря на свой внушающий уважение представительный вид, оказался человеком не столь привередливым, как другие петербургские тузы. Он удовольствовался скромной комнатой, упиравшейся единственным окном в стену соседнего дома.

Не став даже полностью распаковывать багаж, Мамин-Сибиряк наскоро переоделся, сменив дорожное платье на легкий костюм, и поспешил в Нарзанную галерею. Ещё в Петербурге, собираясь в Кисловодск, он решил начать знакомство с курортом именно с этой точки – уникального источника нарзана, принёсшего маленькому селению в предгорьях Кавказа всемирную известность.



**МИХАИЛ
СУРИН**

Краеведение





Мелькнула в голове мысль, что сначала неплохо было бы повидаться с ожидавшими его в Кисловодске петербургскими коллегами – ближайшим другом, переводчиком Фёдором Фидлером – Фрицем, как называли его друзья, и старшим товарищем и наставником, редактором журнала «Русское богатство» Николаем Константиновичем Михайловским. Фриц заранее сообщил координаты гостиницы, где они остановились, и настаивал на том, чтобы по приезде в Кисловодск Дмитрий Наркисович непременно связался с ним.

Но Мамин-Сибиряк тут же отогнал эту мысль. Милейший Фриц, наверное, хотел взять на себя часть забот по устройству друга в разгар курортного сезона. Придётся, конечно, выслушать от него страстную отповедь в свой адрес. Но не беда, Фриц быстро отходчив, и ему ли не понять, почему писатель, чьи книги так или иначе связаны с природными богатствами Урала, вместо того, чтобы искать по указанному адресу гостиницу, первым делом направился заглянуть в подземные кладовые Кавказа.

Подойдя к невысокому, сложенному из тёсаного серо-жёлтого известняка зданию Нарзанной галереи, Мамин-Сибиряк остановился полюбоваться его главным фасадом, украшенным небольшими остроконечными готическими башенками. Как просто и как величественно!

Внутренний вид галереи заметно уступал её внешнему облику. Вытянутое в длину низкое и тёмное помещение ничем не радовало глаз.

Людской поток лился мимо расположенных сбоку отдельных кабинок ванн и общего бассейна для купания в противоположную от входа сторону, где в самом конце галереи, по всей вероятности, и находился знаменитый источник. А вот и он, глубокий колодец под стеклянным колпаком, на дне которого слабо бурлил нарзан. Вокруг колодца на некотором



возвышении толпился народ. Девушки — «источницы» подавали желающим стаканы холодной, пузырящейся по стенкам минеральной воды. Мамин-Сибиряк маленькими глотками пил из стакана, пытаясь продлить получаемое удовольствие, ведь это чистый природный нарзан без каких-либо примесей и подделок. А фальсифицированные, так называемые «искусственные» минеральные напитки уже стали появляться в продаже.

Попивая нарзан, Мамин-Сибиряк незаметно осматривал стены балюстрады, окружающей источник: нет ли где таблички для любознательных: каков дебит скважины, на какой глубине она расположена, какой температуры изливается из горных пород нарзан и сколько содержится в нём естественного природного углекислого газа.

Увы, никакой интересующей его информации не обнаружилось, и он твёрдо решил непременно раздобыть эти и другие сведения, коль скоро источники минеральных вод в этом крае то же самое, что залежи железных руд и золотоносные жилы на Урале.

Из Нарзанной галереи людской поток вытекал в курортный парк.

Миновав открытую, усеянную красным песком площадку, Мамин-Сибиряк сразу погрузился в тенистую прохладу, напоённую ароматами южных растений.

В старом парке под густыми зелёными кущами вековых вязов, клёнов, ясеня, чёрной и белой ольхи кипела жизнь. Нарядно одетая публика прогуливалась по дорожкам между деревянными беседками, теремками, киосками, с которых велась бойкая торговля разными разностями; толпилась у кондитерской и у фонтана; за расставленными кругом столиками пили чай, молоко, кофе.



Ещё издали Мамин-Сибиряк увидел за одним из столиков окладистую белую бороду Николая Константиновича Михайловского и чёрные нечесанные кудри друга Фрица. Третий человек, сидящий за столиком, со стороны казался незнакомым. Все трое были увлечены разговором и не заметили подошедшего к ним брата-литератора.

Мамин-Сибиряк осторожно тронул за плечо Фидлера и сразу же оказался в объятиях друга.

— Приехал! Наконец-то! А мы тебя заждались... Где твои вещи? Сейчас пойдём в гостиницу наследников Зипалова. Я придержал там для тебя местечко. Это рядом — напротив Нарзанной галереи. Где твой багаж?..

— Не беспокойся, Фриц. Я уже устроен.

— Как! — закричал Фидлер. — Или ты не получил моего письма?! Он уже устроился!.. Люди добрые, смотрите на этого негодника! Он уже устроился! Наверное, снял комнатку с единственным окном в стену соседнего дома. С мухами и тараканами. Где-нибудь рядом с помойкой. И взяли с него не меньше трёх рублей за один день. Так, признавайся! Посмотрите на этого человека, не желающего позаботиться о себе. Пренебрегающего услугами друзей, которые...

— Да не волнуйся ты так, Фриц. Успокойся. У меня всё в порядке, — мягко остановил друга Мамин-Сибиряк. — Лучше посмотри, что я тебе привёз...

Фидлер схватил протянутый ему набор почтовых открыток с видами волжских городов и, присев за столик, стал лихорадочно просматривать их, забыв обо всём на свете.

— Ловко, ловко вы его остановили, Дмитрий Наркисович, — засмеялся Михайловский, тряся окладистой белой бородой. — Знаете, какую его струнку задеть. Бедный Фёдор Фёдорович совсем



голову потерял от своего коллекционерства. Здесь все газетные киоски обегает по два раза в день. Ищет что-то новенькое. — Он крепко пожал руку Мамину-Сибиряку. — А хорошо, что вы сюда приехали.... Пора, батенька, и вам поправлять свою натуру... Отдохните. Подлечитесь. Одно только здесь неудобство, — добавил он с хитрой улыбкой. — Далеко от Петербурга!

— А по мне так это и хорошо! — отозвался третий человек за столом. — Петербург захватывает вас целиком. Не даёт возможности хоть на какое-то время отвлечься от дел. Для этого нужна целебная глушь.

— Ну пусть будет по-вашему, Владимир Иванович, — тотчас же согласился Михайловский. — Не спорю. Как ваш пациент, я должен во всём соглашаться с вами... Знакомьтесь, Дмитрий Наркисович. Это доктор медицины Владимир Иванович Подановский. Прошу любить и жаловать.

Мамин-Сибиряк с удовольствием обменялся рукопожатием с крепким плечистым человеком, вставшим из-за стола.

— А ведь мы встречались с вами, Дмитрий Наркисович, — сказал доктор. — В Екатеринбурге, с четверть века назад. Мы с вами земляки... Вы меня, конечно, не помните. Да и я бы не узнал вас, если б мне не сказали о вашем предстоящем приезде. Помню вас по-юношески стройным, молодым. Мы тогда оба занимались в Екатеринбурге репетиторством. Я, студент, был начинающим, а о вас гремела слава как о лучшем репетиторе в нашей славной уральской столице.

— Рад, душевно рад свидеться с земляком-уральцем, — повторял Мамин-Сибиряк, искренне обрадованный новым знакомством. — Славное то было время и нелёгкое. После смерти отца остались на мне сестра и младшие братья. Надо было дать им



образование. Вот и пришлось мне, недоучившемуся студенту и начинающему писателю, взяться за репетиторство. Одного литературного заработка не хватало.

— А я и не знал этих фактов из вашей биографии, Дмитрий Наркисович, — воскликнул, теребя свою роскошную белую бороду, Михайловский. — Эй, Фёдор Фёдорович, да отвлекитесь вы, наконец, от своих карточек. Мы с вами стали свидетелями знаменательного события — неожиданной встречи двух земляков-уральцев. Двух незаурядных русских людей, которые благодаря своим талантам и неустанному труду сумели подняться из народных низов к самым вершинам культуры!

Михайловский любовно, с отеческой нежностью взглянул на Мамина-Сибиряка. В этом выходе из семьи заводского священника, учившемся в Висимской школе для детей рабочих, он, теоретик народничества, один из самых блестящих публицистов, социологов и литературных критиков России, способный возвеличить и развенчать, видел писателя новой генерации, сумевшего создать в своих книгах широкую и правдивую картину народной жизни. Не дворянская усадьба с запущенным садом и красивым помещичьим домом на пригорке, а бедный рабочий посёлок, горная шахта и золотой прииск — вот где проходит жизнь героев его произведений: заводских рабочих, старателей, бурлаков, крестьян и нарождающихся новых русских — хищников, стяжателей, в которых погоня за золотом, жажда обогащения вытравляют все человеческие чувства. Вот по чьим книгам следует судить о том, с каким злом надо бороться, чтобы спасти народ и общество от полного нравственного растрепания. Вот кого надо любить и поддерживать, тем более что жизнь редко приносит им щедрые дары.

— Да что же вы, господа, стоите... За стол, за стол!



А не отметить ли нам это событие бутылкой доброго вина?

— Я — за, — тотчас отозвался на предложение Михайловского встрепенувшийся Фидлер.

— Ни в коем случае, — запротестовал доктор. — Будьте же последовательны, господа. Вы приехали на бальнеологический курорт. Забудьте о вине и других крепких напитках.

Михайловский снова склонил перед доктором голову.

— Ваше слово для нас закон... Фёдор Федорович, голубчик, слетайте, распорядитесь, чтобы нам подали чаю.

Доктор перевёл взгляд на притихшего Мамина-Сибиряка.

— И для вас моё слово — закон, Дмитрий Наркисович? Расскажите о своих болячках. Что привело вас на Кислые Воды?.. Впрочем, не трудитесь. И без того вижу. У вас лишний вес и одышка. Для начала надо бы сбросить фунтиков десять. В этом вам помогут парковые дорожки. Побольше движения! Потом у вас желтые белки. Попейте эссенуки. Рекомендую и нарзанные ванны. Они оздоровят ваш организм. Начните с этого. А дальше посмотрим. Смолоду вы отличались, помню, настоящим сибирским здоровьем... Когда вы стали его терять?

Мамин-Сибиряк отмолчался. В проницательности доктору, конечно, не откажешь. Но не станет же он ни с того, ни с сего исповедоваться доктору... Подкосило его неожиданное горе. Ровно 10 лет тому назад, в 1892 году, после родильной горячки скончалась его вторая жена — актриса Екатеринбургского драматического театра Мария Морицовна Абрамова. Прошёл лишь год, как они соединились, переехали в Петербург и, счастливые, нежно любящие друг друга, ждали рождения первенца. Им оказалась девочка. Но Машу спасти не удалось. Это был удар, сбивающий с



ног даже очень сильных людей. Мамин-Сибиряк выжил только потому, что перенёс всю свою трепетную любовь к жене на дочку, которой горькой судьбой суждено всю жизнь оставаться инвалидом. Кто, кроме него, позаботится об Алёнушке?

Выйти из неловкой ситуации помог догадливый Михайловский. Он быстро перевёл разговор на другую тему.

— Нечего откладывать дело в долгий ящик. Вот сейчас попью чайку, и ноги в руки... Тут, пока вы отсутствовали, Фёдор Фёдорович, доктор прописал Дмитрию Наркисовичу пешие прогулки. Замечательно! Поведём его сей же час на Красные камни. Нет возражений? А вы, доктор, не присоединитесь к нам?

— Нет, Николай Константинович, не присоединюсь. Не забывайте, господа: вы на отдыхе, а я на службе. Меня ждут мои пациенты.

— Жаль, очень жаль. С вами было бы намного интересней... Владимир Иванович — большой знаток Кавказских Минеральных Вод, — пояснил он Мамину-Сибиряку. — Нет, кажется, вопроса, на который он не мог бы ответить — ни по истории, ни по геологии, ни по флоре и фауне курортов. Ну, а о минеральных источниках и говорить нечего. Тут он собаку съел...

— Чудесно! — оживился Мамин-Сибиряк. — У меня тут сразу накопилось множество вопросов. И я не знал, к кому с ними обратиться. Можно к вам, доктор?

— Ну что ж, я к вашим услугам.

— Отлично! — подытожил Михайловский, поглаживая свою роскошную белую бороду, что свидетельствовало о его полном удовлетворении происходящим. — Давайте пообедаем вместе. Заодно и поговорим. Итак, встречаемся на этом же самом месте.



Они вернулись с Красных камней к раннему обеду. Доктора на прежнем месте не оказалось.

— Наверное, он уже там, — Михайловский указал на полускрытое деревьями изящное двухэтажное здание курортного ресторана с открытыми верандами и гротом под лестницей. — Занял там столик получше и ждёт нас.

У самого входа в ресторан Фидлер вдруг как-то странно засуетился, задёргался.

— Вы идите, заказывайте и на меня. Я — мигом. — И моментально улетучился.

— Куда это он? — спросил удивлённый Мамин-Сибиряк.

Михайловский только безнадёжно махнул рукой.

Едва поднялись на второй этаж, как с веранды послышался голос:

— Сюда, сюда господа!

Доктор, действительно, уже поджидал их за столиком в самом удобном месте, откуда открывался вид на расположенные напротив кондитерскую и музыкальную раковину, за ними брызжущий струями фонтан, ещё дальше — на главную аллею парка. Нарядная публика всё прибывала. Казалось, что её собрал здесь вместе большой праздник, хотя это был обычный будничный день. Какой-то находчивый фотограф у входа в ресторан приглашал входящих и выходящих запечатлеть себя на фоне горного грота в национальной одежде горцев — в черкеске, бурке, папахе, и многие, смеясь, фотографировались на память. Особую прелесть этой идиллической картине придавал неумолкающий говор протекающей через парк Ольховки.

Как хорошо! Вытянув уставшие от долгой ходьбы ноги, Мамин-Сибиряк предался приятному отдыху. Как хорошо оказаться бы здесь вместе с безвременно



ушедшей Машенькой. Как радовалась бы она этой роскошной зелени, этому кристально чистому воздуху, этой стремительной горной речке...

— А где вы потеряли славного Фёдора Фёдоровича? — спросил доктор. — Догадываюсь: побежал на почту за новой партией открыток. Ох, уж эти коллекционеры... Впрочем, знаете, это увлечение может быть даже полезно, если только вам удастся его полностью реализовать. Если нет, то оно приносит один вред. Ибо, как известно, ничто так не разрушает наш организм, как неуголённые страсти.

— О, если бы вы, доктор, видели нашего Фрица, когда он достаёт всю свою коллекцию в петербургской квартире, — улыбнулся Мамин-Сибиряк. — В этом есть что-то от пушкинского скупого рыцаря, когда он трясётся над своими сокровищами. Но этой чести удостоиваются только его ближайшие друзья.

— Смейтесь, смейтесь, — заметил Михайловский. — Но я готов признать, что это, казалось бы, пустое ребяческое увлечение может принести пользу. Когда-нибудь в отдалённом будущем. Ведь это крапинки истории*... Ну, господа, что будем заказывать? Подозреваю, у вас, доктор, есть особое мнение не только по поводу напитков...

— Не лукавьте, Николай Константинович. Вы прекрасно знаете мою точку зрения. Но поскольку к нам присоединился Дмитрий Наркисович, готов ещё раз высказаться на этот счёт... К сожалению, дело с питанием на нашем курорте поставлено самым отвратительным образом. Лечение минеральными водами требует и соответствующего питания. Прежде всего требуется исключить всё жирное, острое, солёное. Меньше мяса, больше овощей, фруктов,

* Собранный Ф.Ф. Фидлером литературно-мемориальная коллекция почтовых открыток хранится в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге. К ней часто обращаются в поисках иллюстраций для книг и статей, посвящённых концу 19 - началу 20 века.



молочных продуктов. Сыр, творог... Между прочим, среди горцев, коренного населения этого края, много долгожителей. Я интересовался, чем они питаются. В основе их рациона — сыры. Старые люди вообще не употребляют мяса. Я не призываю к вегетарианству. Но на время лечения необходимо специальное питание. Наши рестораторы — неисправимые рутинёры. Все мои попытки заставить их перестроиться потерпели крах. Но думаю, со временем и на наших отечественных бальнеологических курортах появятся специальные пансионаты, где питание будет поставлено в соответствие с лечением водами. Так что делайте выводы сами для себя, господа!

— Всё это так, Владимир Иванович. С вами трудно не согласиться. Но... Фёдор Фёдорович меня убьёт, если мы не закажем ему мясного блюда.

Указав глазами на углубившегося в обеденную карточку Михайловского, доктор подмигнул Мамину-Сибиряку:

— Вот увидите: всё сделает наоборот. Но я стоял и буду стоять на этом. Придёт время и научные принципы организации лечения на Кислых и Горячих Водах восторжествуют! А ведь курорт у нас замечательный, уникальнейший... Нет в мире другого бальнеологического курорта, где в одном сравнительно небольшом по своей территории месту были бы собраны столь разнообразные по своим лечебным свойствам минеральные источники.

— Надолго ли хватит имеющихся запасов вод? По опыту Урала могу сказать, что хищническая эксплуатация месторождений быстро приводит к их истощению, — раздумчиво проговорил Мамин-Сибиряк. Не вам рассказывать, что происходит в нашем с вами родном краю...

— Через год исполнится ровно 100 лет с тех пор,



как Высочайшим указом Кавказские Минеральные Воды были объявлены национальным бальнеологическим курортом. За это время удалось найти и задействовать новые источники, помимо уже известных. Но использовались они бездумно, бессистемно, как вообще принято у нас. Только в последние четверть века с помощью французских инженеров-гидротехников Жюля Франсуа и Леона Дрю эксплуатация скважин была поставлена на европейский уровень. Пробурены новые скважины, обновлены старые. Восемь лет назад полностью переделан каптаж кисловодского нарзана... Вас интересуют подробности? Спрашивайте.

Мамин-Сибиряк забросал доктора вопросами. Его интересовали и глубина скважин, и минеральный состав лечебных вод, и утилизация излишков нарзана... Вскоре он убедился, что ему, действительно, повезло: лучшего собеседника по этой теме не найти.

Даже Фидлер, занявший своё место за столом и поначалу уткнувшийся в почтовые открытки, отодвинул их в сторону и прислушивался к разговору двух увлечённых и понимающих друг друга людей.

— Прогресс, хотя и медленно, пробивает себе дорогу и у нас, — говорил доктор. — Но сколько ещё нужно сделать, чтобы приблизиться к европейским меркам. В Кисловодске давно ощущается нехватка ванных помещений. Те, что в Нарзанной галерее, давно устарели. А деньги на строительство нового здания нарзанных ванн нашлись только в прошлом году. Да и сама галерея нуждается в ремонте. Заложили её ещё при князе Воронцове и строили 10 лет. Фундамент не удосужились довести до твёрдого грунта, отчего в нём образовалось множество трещин. При всей привлекательности переднего фасада она низка, темна и имеет потолок из отштукатурен-



ного плетня... А наши гостиницы... Вы, Дмитрий Наркисович, уже испытали на себе дефицит жилья для курортников. На углу Тополевой аллеи и Голицынской улицы сейчас строится новая гостиница. А надо бы две или три... Или возьмите проблему сбыта нарзана. На этот год намечается поставить в продажу 6 миллионов бутылок нарзана. Это где-то 200 тысяч вёдер. А между тем столько кисловодский нарзан даёт в одни сутки. Вот вам источник пополнения казны для дальнейшего развития курорта...

— Может быть, надо смелее использовать частную инициативу в таких делах... Кавказские Минеральные Воды, как я понял, сейчас находятся в государственном управлении...

— Были и периоды частного управления... С 1861 года по 1883 год дирекцию Кавминвод возглавляли частные лица, так называемые контр-агенты. Их сменилось трое. Курорты отдавались в аренду под определённые обязательства при финансовой поддержке со стороны правительства. На том этапе были некоторые подвижки в лучшую сторону. Но частным лицам не хватило дыхания. Они оказались не в состоянии привлечь достаточное количество капитала. А деньги на новую постановку дела, о которой я говорил, нужны были немалые... Так мы снова перешли в непосредственное заведование правительства и остаёмся в таком состоянии по сей день...

— Так и у нас Урале... на золотых приисках. И так пробовали, и этак, а ума им не дали. Испохабили, исковеркали такой дивный край... Вы бы посмотрели, что оставили после себя старатели... Давно не бывали в родных краях?

— Давно, Дмитрий Наркисович, давно. Прирос к этому краю. Почитаю его второй родиной. А что там наворочили, знаю из ваших романов. На первое



место ставлю «Золото». Честная, правдивая книга!

— Ага, вот ещё один голос в нашу пользу! — торжественно воскликнул Михайловский — Я всегда был такого мнения... Эта книжка небольшая томов премногих тяжелей. По таким книгам завтра историки и социологи будут изучать Россию конца XIX века... А вам, доктор, я вот что скажу: беритесь-ка, батенька, за перо. Романов мы от вас не ждём. Но публицист из вас выйдет стоящий... Понимаете, в чём дело, — повернулся редактор «Русского богатства» к Мамину-Сибиряку. — Я уже давно уговариваю Владимира Ивановича написать в журнал о состоянии и перспективах развития Кавказских Минеральных Вод. Сколько у него интересных мыслей, дельных предложений! Мы должны привлечь внимание общества к этим проблемам. Должны бороться с косностью и рутинной, которая зачастую губит у нас самое хорошее дело. А он отнекивается... Нехорошо, Владимир Иванович, плохо!

— А это хорошо, Николай Константинович, что вы своими разговорами не даёте доктору пообедать? Я уже к десерту перехожу, а он никак за второе блюдо не примется, — вдруг подал голос не вмешивавшийся до того в разговор Фидлер.

— Пусть берёт пример с Дмитрия Наркисовича. Тот и беседу ведёт, и тарелки у него пустые... Эге, так вы, дорогой мой, за две недели не похудеете.

— Так это ж вы сами нагнали на меня аппетит прогулкой к Красным камням и назад, — отшутился Мамин-Сибиряк.

— Вы и в самом деле к нам на две недели? — спросил доктор.

— В Петербурге у меня больная дочь... А мне бы хотелось ещё проехать по Военно-Грузинской дороге...

Фидлер, который было снова уткнулся в свои



почтовые открытки, немедленно откликнулся:

— Кстати, как самочувствие моей крёстной?

— Всё так же, без перемен.

— Этой славной девчужке мы обязаны появлением «Алёнушкиных сказок», — сказал доктору Фидлер. — По-моему, это лучшее, что написано в русской литературе для детей.

— Не преувеличивай, Фриц, — перебил его Мамин-Сибиряк. — А «Лягушка-путешественница» Гаршина? А «Каштанка» и «Белолобый» Чехова?

— А «Серая шейка» Мамина-Сибиряка? А «Зимовье на Студёной» и «Емеля-охотник» того же автора? Нет, серьёзно. Я давно хочу перевести на немецкий «Алёнушкины сказки». И не могу подступиться ни к Комару Комаровичу — длинному носу, ни к Храброму зайцу — длинные уши — косые глаза — короткий хвост, ни к Воробью Воробеевичу...

— Да брось ты, Фриц! Перевёл на немецкий «Евгения Онегина», «Ревизора», да как перевёл. А сказки не можешь...

— Как на духу говорю: не могу. Там такая чисто русская атмосфера, не передаваемая на другой язык. Особое восприятие природы... Но я всё-таки попробую...

— Кстати, Дмитрий Наркисович, о природе... Вы меня выпрашивали о бальнеологических факторах курортов. Теперь позвольте спросить вас, — сказал доктор. — Как вам тут после уральских разломов, сибирской тайги?

— Давно мечтал побывать на Кавказе. В юности увлекался кавказскими повестями Марлинского. Потом пришёл Лермонтов. Что касается пейзажа в литературе, настоящая равнинная Русь чувствуется только у Льва Толстого, а горная — у Лермонтова. Хотя можете со мной не соглашаться... Надеюсь, вслед за лермонтовским Демоном полюбоваться



панорамами Кавказа. Отсюда они ещё далеко... Хотя с Красных камней мы уже заглянули в область вечных снегов и ледников...

— Надо бы побывать вам на Бермамыте. Это небольшое плато в 35 верстах отсюда. Лучше всего выезжать ночью, чтобы утром встретить там восход солнца. Не видел ничего более величественного, чем явление из туманов Эльбруса в первых лучах солнца. А между ним и вами в глубокой и обширной пропасти дикое нагромождение скал — каменный хаос, как древняя преисподняя земли... Прошу прощения, кажется, я вторгся в не в свою область...

— Ничего. У вас неплохо получается, доктор, — заметил Фидлер. — Может быть, вам и в самом деле взяться за перо...

— Взяться за перо, чтобы силой общественного мнения противостоять дельцам, которые в угоду своим корыстным интересам могут направить развитие курорта не в том направлении, какое нужно сообразно с его предназначением, — с воодушевлением подхватил Михайловский. — Вот мы только что спустились с Красных камней. Там наверху начинаются какие-то земляные работы. Что-то роют... Напакостят, а потом бросят и уйдут.

— Это начинается закладка нового курортного парка, — пояснил доктор. — Три года назад казна выкупила у казаков станицы Кисловодской порядочный кус земли — 45 десятин. Старый парк стал тесен. Задумка хорошая. Я знакомился с проектом устройства прирезанной территории, представленным садовником -пейзажистом Зегером. Весьма недурно. Предполагается создать сеть разбегающихся дорожек-терренкуров для пеших оздоровительных прогулок. Труднейшая задача — озеленить эти голые камни. В том числе хвойными — сосной и елью, чтобы придать воздуху целительные свойства. Если получится, как задумано, со временем новый парк станет



достойным продолжением существующего.

— А вы должны за этим присматривать... от лица общественности. Вам есть на кого опереться... — настаивал Михайловский, теребя свою патриаршую бороду.— На Николая Александровича Ярошенко, Василия Ивановича Сафонова... Да и на нас, грешных. Сколько известных лиц наезжает сюда каждое лето!

Мамин-Сибиряк радостно задвигался в кресле своим крупным телом.

— Вот это по мне... Если уж вмешиваться человеку в природу, то только не во вред ей. Хватит нам многострадального Урала... Знаете, что сразу бросилось мне в глаза по приезде сюда, на Кислые Воды? Даже раньше... начиная с Машука и Бештау. Нетронутая человеком красота! Смотрю и завидую. Лечебные ключи сами бьют из-под земли. Счастливый жребий выпал этому волшебному краю!

...Покинув курортный ресторан, они попали в сети расторопного фотографа.

— Господа, не желаете ли сняться на память? Не пожалеете!

— А что? Почему бы не сняться таким абреком с кинжалом за поясом, — решил за всех Михайловский.

— Я же не влезу в черкеску, — слабо запротестовал Мамин-Сибиряк.

— Не ждать же, пока ты похудеешь, Митя, — отозвался Фриц. — Мы на тебя бурку набросим.

Это фото десять лет простояло на письменном столе Мамина-Сибиряка в его петербургской квартире.

Подписано в печать 28.08.2019.
Формат 84х108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «Georgia»/ Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.
Заказ №318-4. Тираж 979 экз.
Дизайн и вёрстка: С.Е. Стефанова
Корректор: В.Б. Иванов
Отпечатано в типографии ООО «Мир»:
394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119 А, литера Я, офис 215.
Тел.: 8-958-649-53-31.